



От автора бестселлера
«Последний поезд на Лондон»!

ПРЕКРАСНЫЕ ИЗГНАННИКИ

РОМАН

МЕГ УЭЙТ
КЛЕЙТОН

Клейтон прекрасно удалось описать
бурные отношения между Эрнестом Хемингуэем
и Мартой Геллхорн, его третьей женой...

Library Journal

Азбука-бестселлер

Мег Уэйт Клейтон

Прекрасные изгнанники

«Азбука-Аттикус»

2018

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Клейтон М.

Прекрасные изгнанники / М. Клейтон — «Азбука-Аттикус»,
2018 — (Азбука-бестселлер)

ISBN 978-5-389-19272-0

Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн. Известный писатель и молодая талантливая журналистка. Они познакомились в Ки-Уэсте в 1936 году. Их дружба, основанная на письмах, разговорах и семейных обедах, перерастает в бурную любовную интригу, когда они вместе отправляются в Мадрид освещать гражданскую войну в Испании. Марта восхищается талантом, добротой и страстью Хемингуэя. А он восхищается ее красотой, бесстрашием и честностью. В их любви есть все: дружба, соперничество, притяжение славы и власти, потребность в независимости, интеллектуальные споры. И как говорит Марте Хемингуэй, самые сильные любовные истории всегда противопоставляются ярости войны. «Прекрасные изгнанники» – это великолепный роман о любовниках и соперницах, о захватывающем дух влечении к славе, а также об опередившей свое время женщине, которая отстаивает свою личность на обломках любви. Впервые на русском языке!

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-19272-0

© Клейтон М., 2018
© Азбука-Аттикус, 2018

Содержание

Часть первая	6
Кэтскрэйдл-коттедж, Уэльс	6
Ки-Уэст, Флорида	7
Ки-Уэст, Флорида	13
Ки-Уэст, Флорида	17
Ки-Уэст, Флорида	21
Нью-Йорк, Нью-Йорк	25
Париж, Франция	28
Отель «Флорида». Мадрид, Испания	32
Отель «Флорида». Мадрид, Испания	35
Отель «Флорида». Мадрид, Испания	38
Отель «Флорида». Мадрид, Испания	42
Мадрид, Испания	47
Деревня на берегу реки Харамы, Испания	51
Прифронтальной госпиталь в районе Мората-де-Тахунья, Испания	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Мег Уэйт Клейтон

Прекрасные изгнанники

Отцу, который неизменно меня вдохновляет;

Крису – главному поклоннику Хемингуэя;

И Маку: это наша с тобой книга, хотя они всегда наши с тобой.

© И. Б. Русакова, перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

Часть первая

Кэтскрэйдл-коттедж, Уэльс

1994 год

Мы разбираем завалы корреспонденции, скопившейся за долгие годы. Сын берет тонкие голубые конверты и читает вслух преисполненные любви письма Мэти ко мне («Милая Марта») и мои к ней. Он читает мою переписку с редакторами, с Гербертом Уэллсом и Элеонорой Рузвельт (мои послания просто ужасные, хотя она сама никогда бы в этом не призналась) – все это по большей части отправляется в большие коричневые конверты, чтобы в дальнейшем быть захороненным в архивах Бостона. Пусть я еще и чувствую себя бодрой, но я давно уже старуха, зрение мое с каждым днем угасает, и этот маленький коттедж – убежище писательницы – начинает давить на меня. Сын помогает мне навести здесь порядок. Он не пропускает ни одного письма, озвучивает первый абзац или два, а иногда весь текст целиком, и только после этого я принимаю решение.

Он достает из мятого конверта очередное послание и читает:

– «Дорогая Муки!»

Я забираю у него письмо, бросаю в камин и наблюдаю за тем, как лист бумаги, сгорая в голубых и красных языках пламени, постепенно превращается в пепел. Мне не нужно напрягать глаза, я знаю, как оно подписано: либо «Твой товарищ Э.» (как это было на заре наших отношений), либо «С любовью, Клоп», либо «Твой Бонджи» (как это было потом). Бонджи – одно из многих прозвищ, которыми мы по очереди награждали друг друга. Но я никогда не была *его* Бонджи, просто не могла, даже если бы захотела или попыталась ею стать. Не исключено, что именно в этом и состояла моя ошибка, но я всегда оставалась Мартой Эллис Геллхорн, даже после того, как стала миссис Эрнест Хемингуэй.

Ки-Уэст, Флорида *Декабрь 1936 года*

Хаос, пропахший алкоголем и залитый ярким солнечным светом, – вот какой мне вспоминается та зима, когда я познакомилась с Эрнестом. Мне было тогда двадцать восемь лет. В Рождество исполнялся год, как умер отец, и у Мэти, которая горевала все это время, выцвели глаза и вдруг разом поседели золотистые волосы. Она не хотела проводить праздники в Сент-Луисе без папы, и мы отправились из Миссури в Майами, но изнывали там от тоски, а потому сели в машину и поехали в городок, название которого завладело нашим воображением, как только мы увидели его на борту экскурсионного автобуса: Ки-Уэст. Брат вел машину, мама сидела рядом с ним, а я устроилась возле открытого окна на заднем сиденье. Миновав бесконечную череду мостов, мы прибыли на край земли. Этот городок восхищал своим упадком и разложением. Местные жители не утруждали себя ничем, кроме ловли морских черепах и раскалывания кокосов; они потели от жары и сплетничали, сидя на обшарпанных террасах очаровательных разноцветных домишек и на ласковых пляжах, где сразу вспоминались «Одиссея», или «Моби Дик», или маленькая Русалочка, которая не смогла убить принца ради собственного спасения.

– Мы ведь не пройдем мимо бара с говорящим названием «Неряха Джо»? – спросила Мэти.

Вообще-то, наша прогулка близилась к концу: мы уже полюбовались видами с маяка, устроили пикник на пляже, а потом стряхнули песок и, потные с головы до ног, собирались садиться в машину, чтобы найти место, где можно принять прохладную ванну и вымыть спутавшиеся на ветру волосы. Но мы с мамой старались лишний раз ни в чем не отказывать друг другу. Вот отец, тот никогда особо не баловал домочадцев.

Вероятно, Хемингуэй сразу заметил нас, как только мы вошли. Помню, как посетители обернулись на открывшуюся дверь, а мы сперва лишь растерянно моргали: слишком разительным был контраст между безжалостным солнцем на улице и царившим внутри полумраком. Теплое дерево барной стойки, лужицы растаявших кубиков льда на полу и ряды бутылок «Кампари», виски и рома... Верзила-бармен поприветствовал нас из-за длинной подковообразной стойки, а на другом конце заведения шумные завсегдатаи уже вновь переключили свое внимание на партию в бильярд: они играли на деньги – здесь все было серьезно. Какой-то мужчина, не особо уступающий по габаритам бармену, с заметным усилием оторвался от вороха бумаг на столе. Ну и видок у него был: футболка вся в пятнах, а потрепанные шорты подпоясаны веревкой.

Незнакомец с удивительным проворством в несколько шагов преодолел расстояние между нами, приветственно кивнул и представился:

– Эрнест Хемингуэй.

Капелька пота медленно потекла у меня по шее, затем по спине и впилась в темную ткань открытого платья, которое и без того было влажным и мятым после долгого сидения в машине, я уж молчу про пикник на пляже. Мэти мимолетным движением прикоснулась к моему плечу. Это был знак забыть о своем высоком росте и держаться прямо. Я же тем временем пыталась осознать происходящее: неужели этот босой, подпоясанный веревкой чумазный мужчина и впрямь Эрнест Хемингуэй? Да, знакомая картина: характерный контур волос на лбу, напоминающий перевернутый треугольник, – в народе эту особенность именуют вдовьим мысом; взгляд искусителя. Каждое утро, когда я просыпалась в своей комнате в общежитии колледжа Брин-Мар, на меня с фотографии на стене смотрели эти глаза.

– Очень приятно, – сказала Мэти. – Меня зовут Эдна Геллхорн. Это мой сын Альфред, а это Марта.

Просто «Марта», а не «моя дочь Марта». Понятно, что после такого представления Хемингуэй мог принять нас с братом за молодоженов, которые только что сошли с яхты... Но у меня в голове крутилась лишь одна мысль: «Черт, это действительно он!» Тот самый знаменитый Эрнест Хемингуэй, который сумел выловить у берегов Кубы невероятных размеров марлина, а на охоте в Кении убивал диких зверей; тот, кто творил в Париже, когда я жила там; тот, кого я мечтала хотя бы мельком увидеть, как писатель мечтает хотя бы однажды увидеть в реальности свой персонаж. Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фицджеральд были моими героями. Фото Фицджеральда я бы тоже повесила на стену, если бы он выглядел так же неотразимо, как и писал.

С храбрыми не бывает беды. Эту цитату из романа «Прощай, оружие!» я выбрала в качестве эпитафии для своей первой – и, слава богу, вскоре забытой – книги «Такая безумная погоня» («What Mad Pursuit»). Если помните, у Хемингуэя главный герой, лейтенант санитарных войск, адресовал эти слова медсестре, в которую влюбился. Правда, она ответила ему: «Все равно и храбрые умирают».

Брат сказал Хемингуэю, что мы приехали в Ки-Уэст на праздники, поскольку соскучились по солнцу, а Мэти добавила, что в Сент-Луисе в это время года существовать просто невыносимо. Я судорожно пыталась придумать что-нибудь более оригинальное, ведь как-никак я считала себя писательницей.

Но Эрнест Хемингуэй уже повернулся к бармену и произнес тоном, каким обращаются если не к сообщнику, то по крайней мере к человеку одной с тобой весовой категории:

– Скиннер, не нальешь «Папа добле»¹ моим друзьям из Сент-Луиса?

Моим друзьям. Хемингуэй знал, что это нас очарует, и я разгадала его уловку, но все равно купилась. Я попала под его чары и одновременно испытала облегчение оттого, что он не потерял к нам интереса. Да, этот Хемингуэй скорее принадлежал к поколению Мэти, а не к моему, но в его грубоватости было что-то привлекательное и милое, такие чувства испытываешь, когда видишь, как из воды поднимается *Balaenoptera musculus* – большой синий кит.

Пока Скиннер выжимал в ржавый блендер четыре отменных грейпфрута и восемь лаймов, после чего spritzing все это пугающим количеством рома и ликера «Мараскин», Хемингуэй предавался воспоминаниям.

– Я бывал в Сент-Луисе в молодости. Все стоящие женщины в этом мире родом из Сент-Луиса.

Далее он поведал нам, что обе его жены окончили там школу, опустив тот факт, что с легкостью оставил первую супругу ради второй, богатой и более искушенной.

– И кстати, мои друзья – Билл и Кэти Смит – тоже оттуда. Прекрасный город Сент-Луис.

Потом Хемингуэй заговорил о погоде, но в своем стиле: рассказал внушающую ужас историю об урагане, который стер с лица земли половину домов в Ки-Уэсте и убил сотни ветеранов в реабилитационных центрах.

Гудение блендера вмешалось в повествование до того, как он успел обвинить в их гибели президента Рузвельта, а Мэти – выразить свое негодование по этому поводу. Повисла пауза, и я заметила укороченный кий, прислоненный к стене за стойкой бара.

– О, Скиннер и его кий! Но разве их место не в Гаване? – удивилась я.

Брат однажды показал мне какой-то мужской журнал, где печаталась серия «писем» Хемингуэя из разных экзотических мест. Там он, помнится, описывал бармена, который держал за стойкой укороченный кий и лупил им по голове посетителей, когда в их заведении начиналась заваруха.

– В Гаване? – переспросил Хемингуэй.

¹ «Папа добле», или «Двойной Папа», – вариация коктейля «Дайкири», придуманная Эрнестом Хемингуэем в начале 1930-х годов и названная барменом Константино Рибалайга в его честь. – *Здесь и далее примеч. перев.*

– Вы же рыбачили на Кубе, – сказала я. – Я читала ваши «Письма из Гаваны». Кажется, в журнале «Эсквайр».

– Я рыбачил на Кубе, пока бедняга Скиннер колдовал над выпивкой здесь, в Ки-Уэсте.

Скиннер с высоты метко разлил коктейль по бокалам и расставил их перед нами. Сложно было представить ситуацию, когда такому крупному мужчине мог в качестве оружия понадобиться бильярдный кий, тем более укороченный. И еще труднее было смириться с тем, что этот кий находится тут, во Флориде, в то время как в моем сознании он был накрепко привязан к дешевому бару в Гаване.

Хемингуэй собрал в кучу свою корреспонденцию и журналы и переложил всё на дальний табурет.

– Садитесь, если не хотите, чтобы я уступил вам свое место, – настойчиво сказал он и придвинул один табурет Мэти, а другой мне.

Потом сел сам. Табурет казался слишком хлипким для его габаритов. Темные глаза Хемингуэя были сфокусированы на моей матери, но я представляла, что боковым зрением он видит и меня тоже. А еще представляла, как он помещает нас с Мэти и братом в свою историю, которая впоследствии окажется в одной из его книг и станет бессмертной.

Пока Альфред освобождал для себя табурет, заваленный корреспонденцией Хемингуэя, тот поднял бокал и, обращаясь к нам с Мэти, провозгласил тост:

– Добро пожаловать в мой уголок ада!

Он посмотрел на Мэти и отпил глоток из бокала, наверняка уже не первого за день... И даже не второго.

Генерал Джордж Кастер, который держал оборону на последнем рубеже на картине, висевшей над стойкой, был явно недоволен.

– Мой сын учится на последнем курсе Медицинского университета, – произнесла Мэти. – А моя дочь... Вы, конечно, знаете о ее последней книге «Бедствие, которое я видела»?

– Мама, – попыталась вмешаться я.

Хемингуэй повернулся ко мне; мы были настолько близко друг от друга, что я едва ли не слышала, как у него в голове прокручиваются слова: «Она дочь Мэти».

Я прикурила сигарету до того, как он успел предложить мне зажигалку, если, конечно, вообще был в состоянии сейчас об этом думать. И почувствовала, что для него женщина-дочь – разочарование, как и женщина-писатель. А уж обе в одном флаконе тем более.

– «Бедствие, которое я видела»?.. Да, что-то такое припоминаю. Это ведь о Великой депрессии? – Хемингуэй явно понятия не имел об этой книге и цеплялся за название. – Поделитесь, о чем вы писали, мисс Марта Геллхорн, дочь прекрасной Эдны?

Он улыбнулся Мэти, а Скиннер поставил передо мной пепельницу.

– Вообще-то, это не совсем моя книга, – тихо ответила я.

Только так, вполголоса, я могла говорить о гувервиллях², которые шаг за шагом исследовала, пока собирала материал для своей книги. Гувервилли – это лачуги и палатки, лужи с белой пеной, сточные канавы, мухи, мошкара и крысы, тощие коты, собаки и козы, ну и конечно же донельзя исхудавшие, ослабленные и больные люди. Самое меньшее, что я могла сделать для этих несчастных, чтобы сохранить их достоинство, – это хотя бы на бумаге выразить свой гнев и возмущение, попытаться объяснить, что так быть не должно.

– То есть это роман, однако все истории реальные, – пояснила я. Да, я использовала художественную форму, но только для того, чтобы защитить людей, которые стыдились своего существования и винили во всем самих себя. – Маленькая девочка ищет в вонючей луже колесо

² Термином «гувервилль» обозначались небольшие поселения, которые строили и где были вынуждены жить тысячи американцев, потерявших жилье и работу в результате Великой депрессии 1929–1933 гг.

от ручной тележки. Мать устраивает для своей дочки пир из одной банки консервированной рыбы. И...

Я затушила наполовину выкуренную сигарету в чистой пепельнице, мне совсем не хотелось выставить себя перед Эрнестом Хемингуэем слезливой сентиментальной дурочкой. Я собиралась сказать «малышка», но слово застряло у меня в горле. Той малышке было всего четыре месяца, у нее из-за сифилиса развился прогрессивный паралич, но врачи отказывались делать ей уколы, которые стоили каких-то жалких двадцать пять центов. Тогда, в больнице, я выложила все свои деньги ради той крохотной девчушки с таким красивым и многообещающим именем – Эбигейл Джун.

– Тяжко писать о том, что цепляет за самое нутро, да? – спросил Хемингуэй. – Но только так и следует писать каждому из нас. С осколком между сердцем и позвоночником.

– Один обозреватель сравнил Марти с Достоевским, Диккенсом и Гюго, – вставил Альфред. – А ее фото поместили на обложке журнала «Сатердей ревью»...

– Я читала все ваши книги, мистер Хемингуэй, – перебила я брата.

На месте Эрнеста Хемингуэя я бы точно сбежала от семейки сумасшедших, которые вообразили, будто отзывы об их пишущей дочери и сестре достойны упоминания в его присутствии.

– «Прощай, оружие!» – это что-то невероятное. – На мой взгляд, Фредерик Генри был выписан лучше, чем медсестра, но история все равно брала за душу. – Я, когда прочитала этот роман, все бросила, схватила пишущую машинку и отправилась во Францию.

– Приятно думать, что моя работа вдохновляет девушек бросить учебу.

– Ну, положим, на это мою сестру и вдохновлять было не надо, – заметил Альфред. – Она к тому времени уже и так ушла из колледжа. Не позволяйте ей морочить вам голову, сэр.

– Сэр? – Эрнест повернулся ко мне. – Марти, если вы тоже назовете меня «сэр», мне придется позвонить свежеепеченному королю Георгу и потребовать свой рыцарский крест.

Он весело рассмеялся, допил коктейль и продемонстрировал пустой бокал Скиннеру.

– После колледжа я бы умерла от скуки в какой-нибудь конторе, где одна радость – вид из окна.

Я задыхалась в атмосфере Брин-Мара, где девушек интересовали только наряды, цвет губной помады и свидания с парнями из Лиги плюща. Все мои сокурсницы дружно сплетничали, а если и хранили секреты, то лишь для того, чтобы показаться лучше других. Я ушла из колледжа, чтобы заняться литературой. Возможно, я была не бог весть какой писательницей, и отец вполне справедливо назвал мой первый опус «образчиком возвышенной чуши, которой забита голова студентки». Но мой второй роман был уже значительно лучше, я чувствовала это.

– Какая хорошая и умная девушка. Наверное, эта девушка собирается написать новую книгу? – поинтересовался Хемингуэй.

– Я больше ни на что не гожусь, мистер Хемингуэй.

– Просто Эрнест, – поправил он.

– Эрнест.

Я думала о том, что по большому счету только писательство меня и спасло, удержало от сползания в болото сомнений. Мне было интересно узнать: Эрнест Хемингуэй в этом хоть немного такой же, как и я? Этот знаменитый писатель хотя бы иногда сомневался в своих текстах, в собственной значимости? Задавался вопросом: стоит ли выкладываться ради книги, которую могут не дочитать и до середины, оставить на скамейке на вокзале, даже если дорога предстоит очень долгая?

Как-то само собой получилось, что я начала рассказывать Эрнесту о своем отношении к писательству. Наверное, потому, что это и впрямь его интересовало. После романа «Бедствие, которое я видела» у меня появилась тьма идей, и в надежде, что мне выпадет шанс писать о том, что происходит в Европе, я заваливала ими «Таймс», «Нью-Йоркер» и вообще всех,

кто имел отношение к прессе. Гитлер уже не первый год бесчинствовал: ограничивал допуск евреев к университетскому образованию, к врачебной или юридической практике, а в сентябре 1935 года на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге по его инициативе были приняты так называемые Расовые законы. Но все мои предложения не находили отклика. Эта тема никого не интересовала. Тогда я наскребла на дорогу в Париж (ночевка в тамошних модных отелях любому по карману ударит) и оттуда отправилась дальше, в Штутгарт и Мюнхен. Нацистское отребье настолько потрясло меня своей мерзостью, что, вернувшись домой, я решила написать пацифистский роман.

– А когда закончу его, собираюсь поехать в Испанию. Буду писать репортажи о гражданской войне.

Потом мы еще долго говорили об Испании, о том, что это передний край, на котором можно остановить фашистскую заразу.

– Все знают, что у них руки по локоть в крови, – сказала я, – однако всему миру почему-то наплевать.

– Я оплатил отправку двух добровольцев в Интернациональные бригады и собираюсь послать республиканцам полторы тысячи баксов на санитарные машины.

В ту пору полторы тысячи долларов составляли для простого человека годовое жалованье.

– Деньги – это всего лишь деньги, не больше того, – ответила я. – Главное – рассказать людям правду, а для этого надо видеть все своими глазами.

– Эрнест, вы уж простите, похоже, я плохо воспитала дочь, – вмешалась Мэти. – У нее темперамент перечеркивает все манеры.

Но Хемингуэй уже смеялся:

– Хорошо, Дочурка, я понял: отправлюсь в Испанию, как только закончу свой новый роман. А пока давай договоримся: в Мадриде я угощаю тебя «Папа добле». Идет?

– Тогда придется взять с собой Скиннера, – заметила я.

– А для Скиннера – большущий чемодан.

– Лучше сундук.

– Но не простой, а громадный такой сундук.

Мы все дружно рассмеялись, и Хемингуэй показал Скиннеру на мой пустой бокал, намекая на вторую порцию «Папа добле». А вот бокалы Мэти и брата были еще полными.

Я достала сигарету, а Эрнест взял у меня зажигалку.

– О войне чертовски трудно писать правду, так что для писателя нюхнуть порошу очень даже полезно.

Он чиркнул зажигалкой и поднес пламя к моей сигарете. У меня мурашки по спине пробежали, когда он на секунду придержал мою руку. Сама от себя такого не ожидала. Вот же чертов Эрнест Хемингуэй!

– Но естественно, завистливые недоноски, которые даже не знают, за какой конец держать винтовку, всегда постараются низвести твой опыт до нуля.

Я жадно затянулась и укрылась за дымовой завесой своей неопытности. В Европе я не раз сталкивалась с угрозой войны, но увидеть войну своими глазами мне еще только предстояло.

– Да, Испания – вот куда стоит поехать, когда я закончу книгу, – заключил мой собеседник. – У меня здесь прекрасный дом и прекрасная семья. Но когда поставишь точку, покой начинает действовать на нервы.

– Вы не расскажете о своей новой книге, мистер Хемингуэй? – попросила я.

– Просто Эрнест. И давайте уже перейдем на «ты», – предложил он.

– Эрнест, – повторила я и пригубила вторую порцию коктейля.

У меня голова пошла кругом. Перейти на «ты» с самим Эрнестом Хемингуэем – в это было просто невозможно поверить.

А он принялся описывать нам сюжетные повороты истории, которая должна была стать его третьим романом «Иметь и не иметь». Это была история рыбака, который в попытке убедить семью от нищеты соглашается перевозить с Кубы в Ки-Уэст виски и другую контрабанду. Слушать, как знаменитый писатель рассказывает отдельные, еще не оформившиеся в книгу эпизоды, – это было что-то невероятное. Я была уверена, что если буду слушать внимательно и ничего не упущу, то пойму, как Эрнест Хемингуэй это делает. Догадаюсь, каким образом он подбирает правильные слова и, как будто гвозди, метко и уверенно вбивает их в «доску» сюжета, и тогда пусть и не на таком уровне, но тоже смогу овладеть литературным мастерством.

Хемингуэй увлекся сам и увлек всех нас, но тут в дверях бара появился какой-то хорошо одетый мужчина.

– Эрнест, старина, вот ты где!

Хемингуэй встал с табурета и представил нам своего друга:

– Томпсон, владелец здешней скобяной лавки, мы вместе рыбачим. Томпсон, это Эдна Геллхорн. Ее сын Альфред. И дочь Марти, писательница. Ты, наверное, читал «Бедствие, которое я видела»? Миссис Рузвельт высоко оценила этот роман.

– Да, конечно, – кивнул Томпсон. – Но тебя ждут Полин, гости и великолепный ужин с лангустами.

Эрнест предложил своему приятелю сесть и выпить, но тот решительно отказался.

– Геллхорны приехали из Сент-Луиса, – сказал Эрнест. – Между прочим, супруг Эдны – доктор.

Мэти уже успела очаровать Хемингуэя: ему нравилось, что она, как и его мать, вышла замуж за врача, но при этом была совсем на нее не похожа – открытая для общения и без диктаторских замашек.

Томпсон был очень мил, выразил надежду, что нам нравится в Ки-Уэсте (брат заверил, что так оно и есть), однако упорно гнул свою линию:

– Это все очень хорошо, Эрнест, но стол уже накрыт.

– Да-да, ты иди, – ответил Хемингуэй.

– Полин послала меня за тобой, – не сдавался Томпсон.

– О, не стоит из-за нас задерживаться, – произнесла Мэти, – вас ждут гости.

– Иди, Томпсон, – повторил Эрнест. – Передай Полин, я здесь перекушу, пусть не волнуется – с голоду не умру. И скажи, что я подтянусь позже, успею на бокал «Пенья».

Эрнест хотел, чтобы Томпсон передал его жене, что он настолько занят, выпивая у Скинера, что не может присутствовать на званом ужине в собственном доме. Я не сомневалась, что при этом Томпсон вряд ли вспомнит о Мэти и моем брате, но наверняка отрапортует супруге о длинноногой блондинке в черном летнем платье, как будто обо мне больше и сказать нечего.

Ки-Уэст, Флорида *Декабрь 1936 года*

В детстве, то есть во времена, когда следовало быть белой без примесей и непорочной, как чертова лилия, протестанткой, я была слишком высокой для своего возраста, нескладной девочкой и вдобавок наполовину еврейкой. Но и это еще не все. Моя мама, очаровательная блондинка, которая не знала недостатка в поклонниках, выбрала в мужа умного, интеллигентного врача, мало того что лысого, так еще и пруссака, который совершенно не вписывался в стандарты светского общества Сент-Луиса. Впрочем, Мэти не нуждалась в одобрении окружающих. Она предпочитала людей, с которыми не скучно, а наш папа был именно таким. Отец считал жену во всем равной себе, на что не были способны другие мужчины. У нас за ужином собирались либеральные умы, вне зависимости от цвета кожи, и посылались к черту все, кто считал, что белый не должен впускать в свой дом черного через парадный вход. Мы были прогрессистами, а это считалось скандальным и предосудительным. Мы были Геллхорнами. В начале века, еще до того, как было введено всеобщее избирательное право, и когда я только пошла в школу, родители предостерегали своих дочерей от общения со мной и с моей мамой – опасной радикальной суфражисткой, считавшейся их вполне респектабельной приятельницей, пока не стала брать свою дочку на митинги, которые – о боги! – сама же и организовывала.

Вдобавок ко всем этим несчастьям я, долговязая и неуклюжая, раз в две недели посещала кружок бальных танцев, где погружалась в особый враждебный мир. Разумеется, я вовсе не была великаншей среди карликов, просто к тому времени уже переросла сверстниц, а ребята еще со мной не сравнялись, так что, когда мы танцевали, их глаза находились на уровне моей подающей надежды груди. Они были мальчишками и понимали разницу между сильным и слабым полом, хотя ни один из них еще не бредил любовью, как бредили мы, девчонки.

Моя лучшая подруга, с которой нас вместе записали на бальные танцы, страдала не меньше, хотя, в отличие от меня, она была пухленькой, огненно-рыжей и веснушчатой. Наши родители, видно, представляли, что их дочери будут отплясывать фокстрот с приличными кавалерами, однако на самом деле все получилось иначе: мы – сорок с лишним девчонок – вынуждены были стоять вдоль стены в пропахшем потом спортзале и смеяться собственным шуткам, в то время как дюжина прыщавых пацанов решали, кого из нас выбрать. Мы с подружкой сначала так надеялись. Но мальчишки, один за другим, проходили мимо и выбирали себе другую прыщавую девочку, которой посчастливилось больше, чем нам. Станным образом те девочки даже спустя годы, когда мальчишки сравнялись с нами по росту и по желанию влюбляться, все равно соответствовали им больше, чем мы.

После первых унижений – вальсирования с другой невыбранной девочкой и отказа родителей забрать нас из кружка – мы, пока наши одноклассники бежали в спортзал, прятались в раздевалке. Вечера напролет мы дышали запахами сырых шерстяных пальто и шепотом обсуждали неотесанных парней и девчонок, которых они предпочли. Как будто мы вовсе и не хотели, чтобы эти мальчишки держали наши потные ладони, или в танце наступали нам на ноги, или пытались нас поцеловать, пока инструктор показывает другой парочке шаги и наклоны.

Я никого так не любила, как свою маму, и никем так не гордилась, но когда тебе восемь и в школьном буфете никто не подсаживается к тебе за столик – это закаляет на всю оставшуюся жизнь. Не думаю, что густые светлые волосы и голубые глаза могут как-то помочь тринадцатилетней девочке, которая прячется в раздевалке и только начинает осознавать себя как личность, пусть она и понимает, насколько скучны эти мальчишки, которые вместо свидания в субботу вечером предпочитают разглядывать комиксы или мучить бедных лягушек.

Вот почему, даже когда я выгляжу лучше некуда и, длинноногая, светловолосая и голу-боглазая, вхожу в какое-нибудь помещение и все взгляды мужчин обращаются в мою сторону,

у меня неизменно возникает такое чувство, будто они восхищаются не мной, а какой-то самозванкой, которая никогда не пряталась от мальчиков из кружка бальных танцев или от одноклассниц в школе. Я всегда была уверена в том, что, стоит лишь повнимательнее ко мне приглядеться, и вся правда мигом выйдет наружу: любой сразу увидит мой безвольный подбородок, длинный нос и «лысые» брови, поймет, что волосы у меня выются, только когда влажно, а в остальное время они прямые, как фермерские поля в окрестностях Сент-Луиса. Я никогда не считала себя привлекательной и поняла, что заблуждалась, только состарившись, когда рассматривала старые фотографии, но было уже поздно.

Ки-Уэст показался мне лучшим местом в Америке, это было именно то, что я искала, – пристанище, где можно начать работу над новым романом. Там я купалась в море и познакомилась с молодым шведом. Он был тот еще бездельник, но с ним было весело: днем мы плавали, а вечерами танцевали. Поэтому, когда Альфред с Мэти уехали обратно в Сент-Луис – у брата закончились каникулы в университете, – я еще на пару недель, чтобы поработать над книгой, сняла номер в отеле «Колониаль» на Дюваль-стрит.

В тот день, когда я проводила маму и брата, Хемингуэй пригласил меня на ужин в их с Полин похожий на свадебный торт особняк на Уайтхед-стрит. Я должна была приехать пораньше. Эрнест обещал показать мне сад, где мы, не докучая гостям, могли бы поболтать о своих литературных делах. Хемингуэй славился тем, что щедро делился опытом с коллегами, но не думаю, что захотела бы познакомиться хотя бы с одной писательницей, которая воспользовалась его щедростью. Так или иначе, упускать такой шанс было нельзя.

Мы сидели на скамейке в тени гостевого дома, который служил ему кабинетом, и Эрнест держал на коленях белую кошку. Он сказал, что недавно купил рыбацкий катер, а потом начал объяснять, как следует писать, взяв для примера эпизод с ловлей рыбы.

– Капли воды на леске, что натянулась, как веревка на виселице... Или как их сбрасывает только что вытащенная из моря рыба... Вот что ты должна держать в голове. Запоминай звуки, свет, все, что тебя возбуждает, злит или пугает. А потом записывай в деталях, так чтобы читатель один в один почувствовал то же, что ощущаешь и ты сама.

Я же в тот момент заметила шесть пальцев на лапе у кошки и ничего, кроме омерзения с примесью жалости, не почувствовала. Было в Эрнесте и в его привязанности к этой кошке что-то странное, будто он чувствовал себя виновным в ее изъёме или воспринимал его как свой собственный. Я отвернулась и посмотрела на виднеющийся над верхушками пальм маяк, на павлинов и на фламинго, которые расхаживали по кромке воды. Я понимала, о чем он толкует, и в то же время не могла этого понять.

Мне хотелось ответить: «Я не прошу учить меня, как надо писать. Просто скажи: хорошо я это делаю или плохо?»

Мне хотелось попенять ему за книгу «Кросс по снегу» и за то, что он высмеял моего бывшего возлюбленного Бертрана де Жувенеля, французского журналиста, с которым Хемингуэй познакомился в Париже и которого упрекал в излишней простоте стиля. На самом деле Бертран умел выражаться красиво, а Эрнесту, прежде чем язвить, стоило бы посмотреть на себя.

Однако я сочла за благо помалкивать и лишь протянула руку к кошке и потрогала ее странную лапку. Я понимала, что, если не перебивать Эрнеста, если позволить ему говорить о том, что я и без него знаю, он постепенно дойдет до таких вещей, о которых я даже не слышала или же слышала, но была в них полным профаном, – например, о рыбалке. Я знала, что все это может пригодиться, когда я буду писать.

– И не забывай о погоде, – объяснял Эрнест. – Погода чертовски важна.

– Жарко и душно, вот какая сейчас погода, – сказала я, убирая со лба волосы, которые еще не высохли после дневного купания с моим шведским приятелем.

– Душно? Только если ты несчастлива, Марти. А как ты можешь быть несчастлива, если танцуешь по вечерам, а днем плаваешь в море? Любительница танцевать вроде тебя скорее назовет погоду влажной.

– А откуда ты знаешь, что я танцую по вечерам? – с деланным равнодушием спросила я, хотя на самом деле это меня очень интересовало.

– В Ки-Уэсте ничего скрыть нельзя, даже не надейся.

Я рассмеялась:

– Тогда, возможно, слово, которого мне не хватает, – «жарко»? Подойдет для сюжета «преступление на почве страсти».

– Любовь – отличная тема для романа, как и убийство, – кивнул Эрнест. – А теперь представь: любовь и убийство во время войны. Один день во время войны обеспечит больше действия и эмоций, чем целая жизнь в мирное время.

К концу недели Хемингуэй за то, что я вечно приходила на наши послеобеденные встречи с мокрыми волосами, наградил меня прозвищем Русалка. А еще он дал мне почитать отпечатанный на машинке черновик романа о контрабандистах, которые возили ром с Кубы. Оказалось, что жизнь у них не менее захватывающая, чем на войне.

– «Война и мир» нашего времени, вот как я это задумал, – сказал Эрнест.

Редактор и соучредитель «Эсквайра» предложил ему соединить сюжеты двух рассказов воедино и переработать их в роман.

– Ки-Уэст и Куба, – объяснял Эрнест. – Богатые и бедные. Контрабанда, коррупция и секс. Эта история вернет меня к моим корням.

За его бравадой скрывалось что-то еще. Когда мужчина так бахвалится, скорее всего, он пытается убедить в собственной значимости себя, а не кого-то другого. «И восходит солнце» – потрясающий роман, а «Прощай, оружие!», пожалуй, по праву можно назвать шедевром. Но что Хемингуэй написал после двадцать девятого года? Три книги, которые не вызывали особой симпатии у критиков и продавались лишь ненамного лучше, чем моя первая книга.

Признаюсь вам откровенно: я была в восторге от романов Эрнеста, но вот его рассказы порой ставили меня в тупик. Там он зачастую выводил своих героинь в роли таких мелких зануд-моралисток. В новом романе Хемингуэя тоже было полно всякой лабуды вроде той нарциссической мути, которая в 1933 году похоронила сборник рассказов «Победитель не получает ничего». Правда, его коллеги по литературному цеху – Джон Дос Пассос, усиленно маскировавшийся под алкоголика-сердцееда, и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, который взял Эрнеста под крыло, когда сам уже стал знаменитостью, а Хемингуэй еще был никем, – получали от критиков отзывы и похуже. Однако следовало признать: сборник, который должен был стать канатом, сплетенным из крепких волокон-историй, расползся в разные стороны. Но стиль Эрнеста – энергичный, краткий и поэтичный – остался неизменным: он все так же точно и безошибочно использовал слова.

Если вы читали Хемингуэя, ваш собственный стиль неизбежно менялся, и не важно, хотели вы этого или нет. Я была в восторге от диалогов из последней книги, в чем ему и призналась.

– Чертовы критики, – сказал Эрнест, – хотят, чтобы я стал капитаном болельщиков коммунистов, но это всего лишь один из дерьмовых закутков мира Дос Пассоса.

– Как ты планируешь закончить книгу? – спросила я.

– Мой герой получит пулю в живот при ограблении банка, но я все еще не нащупал старое доброе чудо, которое поможет мне с финалом.

– Старое доброе чудо?

– Чтобы поставить точку, без чуда не обойтись. Вот так, Студж³.

Студж? Правда, Эрнест произнес это с таким теплом в голосе, словно получить подобное прозвище – большая честь.

– И кто же, по-твоему, дергает меня за ниточки? – поинтересовалась я.

– Ну, тот парень, который вьется вокруг тебя на пляже, наверняка думает, что он.

Ну что же, Студж так Студж. На мой вкус, это ничем не хуже Русалки. Я сама давала друзьям и родственникам прозвища, которые далеко не всегда были лестными. Швед – это понятно кто. Мой любимый учитель из Бир-Марна – Тичи, а своего бывшего из Парижа, Бертрана де Жувенеля, я звала Смифом.

– А я уверена, что главный комик – это я, а Швед – мой подставной, партнер, подающий реплики из зала.

Эрнест рассмеялся:

– Писателю, чтобы быть смешным, надо хлебнуть приличную порцию гадостей.

Ну, я-то столько гадостей хлебнула, что могла писать смешные истории дни и ночи напролет.

– Я уже скоро добыю эту книгу, – заявил Эрнест. – Просто надо еще разок съездить в Гавану, там я смогу окончательно расставить все по местам.

Потом он попросил показать ему мою рукопись, это меня испугало и одновременно воодушевило: ну как же, Эрнест Хемингуэй заинтересовался моей работой. Это побудило меня саму отнестись к ней с максимальной серьезностью, и при ближайшем рассмотрении я вдруг обнаружила, что никакой это не роман, что все мои герои просто слоняются по городу и ни с кем из них не происходит ничего примечательного, на их пути даже шестипалая кошка не попадает. И в результате я выбросила к черту всю эту прогнившую чушь. Боже, это было настоящей пыткой, но я это сделала и начала писать новую историю. Я постоянно прокручивала ее в голове: и когда плавала в море, и когда разговаривала с Эрнестом.

По вечерам я танцевала со Шведом, а потом в одиночестве лежала в кровати и, пока влажный воздух смягчал мои легкие, мою кожу и мое отчаяние, молила своих богов, которые все сильно смахивали на печатную машинку, дать мне силы написать книгу, помочь перенести историю на бумагу так, чтобы она оставалась при этом такой же живой, какой была пять минут назад в моем воображении. Утром меня будили лучи палящего солнца. Оно заливало своим светом мое длинное тело, а у меня в голове, как каша в котелке, продолжал вариться сюжет будущего романа. Я нацелилась написать красивую и жесткую историю и чувствовала, что книга получится отличная: главное – сделать все как надо.

³ Студж (англ. stooge) в данном случае означает «марионетка», «партнер комика».

Ки-Уэст, Флорида *Январь 1937 года*

Однажды у Хемингуэя за ужином собрался полный стол: Томпсоны и я, Полин с Эрнестом и двое их сыновей – восьмилетний Патрик по прозвищу Мышонок (не по годам серьезный, весь в отца) и ясноглазый пятилетний Гиги (мне сперва послышалось «Пигги»), которого на самом деле звали Грегори. Мальчики были просто чудесными, я даже подумала, что неплохо будет когда-нибудь завести детей при условии, что они окажутся такими же славными. У Эрнеста был еще один сын, Бамби, он жил с его первой женой Хэдли, которая была очень дружна с Полином. В обществе любили иронизировать на тему того, как набожная католичка смогла увести чужого мужа и при этом сохранить добрые отношения со своим суровым Богом, хотя, впрочем, богатым все позволено. Вот только на самом деле Полин вовсе не уводила Хемингуэя.

Все шло хорошо, вечер начался с коктейлей в гостиной, правда без «Папа добле». Эрнест пил виски, а я «Куба либре», потому как смешать ром с колой и соком лайма – дело нехитрое, а мне не хотелось лишний раз утруждать хозяина. Когда же Эрнест занялся приготовлением какого-то экстравагантного коктейля для Полины, для чего потребовалось открыть новую бутылку шампанского, я пожалела, что не заказала что-нибудь более утонченное, но промолчала: не хватало еще выглядеть дурочкой, которая сама не знает, чего хочет. В общем, я потягивала свой напиток и слушала Полину. Жена Хемингуэя носила короткую стрижку «под мальчика» и, подобно мне, почти не пользовалась косметикой. Она была женщиной остроумной, из тех, кто за словом в карман не полезет, что позволяло нам вместе посмеиваться над забавными островитянами, хотя, не скрою, осознание собственного превосходства и вызывало у меня некоторые угрызения совести.

После коктейлей мы прошли через холл в узкую столовую с бледно-желтыми стенами и арочными проемами, которые всегда пропускали солнечный свет и даже вечером заставляли забыть о зиме. Когда мы устроились в креслах с кожаной обивкой за массивным деревянным столом, Полин принялась рассказывать о переменах, которые они с Эрнестом планировали провести в саду.

– Мы хотим все кардинально поменять и устроить бассейн там, где сейчас у Эрнеста боксерский ринг. Представляете, первый бассейн с морской водой...

– Это твои планы, Полин, – перебил ее муж. – Ты хочешь притащить сюда землекопов с экскаваторами и бетоноукладчиками, чтобы они здесь грохотали с утра до вечера, а я бы на все это время забросил писательство. Но не забывай, Файф: жена счастлива при счастливом муже. Так что лучше не мешай мне работать.

Томпсон предпринял попытку понизить градус разговора:

– Полин говорит, что комната, где вы планируете развесить головы антилоп, на которых ты охотился в Африке, – это будет нечто.

– Не хватало еще всю жизнь угробить, выбирая аксессуары для сада и обстановку для дома, – заявил Эрнест. – Можно всю жизнь просидеть здесь, в Ки-Уэсте, а реальный мир останется где-то за бортом.

– Дорогой, – примирительно произнесла Полин.

– Испания, вот где сейчас должен быть настоящий писатель. Я должен поехать в Испанию.

Возможно, Хемингуэй, затеяв этот разговор за ужином, просто хотел позлить супругу. Порой я даже думала, что он и меня приглашает, лишь бы только ей досадить. Эрнест усадил меня справа от себя, и, когда наклонился ко мне и говорил что-нибудь вполголоса, Полин, которая сидела в конце стола с Томпсонами по флангам, приходилось напрягать слух.

– Он и так уже пожертвовал деньги на санитарные машины и оплатил поездку двух добровольцев, – сказала, обращаясь ко мне, Полин. – По-твоему, Марта, этого недостаточно?

Понятно, что она хотела перетянуть меня на свою сторону, чтобы мы выступили единым фронтом и не позволили Эрнесту покинуть Флориду.

Надо было, конечно, поддержать ее, хотя бы из приличия. Мне очень нравилась Полин. Она открыла для меня двери своего дома и приняла тепло, чуть ли не как родную. Но беда в том, что я была слишком принципиальной и совсем не умела говорить то, что сама не считала правильным. А потому я промолчала.

– Напрасно стараешься, Полин. Студж ты все равно не завербуешь, – заметил Хемингуэй. – Она тысяче снобов в Рокфеллеровском центре прочитала лекцию, объясняя, что писателям сейчас следует всячески «рекламировать и продавать демократию», обращаясь в художественной форме к своим читателям, или мы закончим, как нацисты.

Полин склонила свое утонченное лицо к привезенному из Парижа подсвечнику так, словно это было распятие в какой-нибудь средневековой церкви с деревянными скамьями и подушечками для коленопреклонения, а на голове у нее был белый кружевной платок. Она перестала попрекать мужа, и он смягчился – ровно на эти несколько секунд.

– Республиканцы, старик, вовсе не святые, – сказал Томпсон.

– Естественно, не святые, – согласился Эрнест.

Однако на стороне республиканцев выступил бы тогда любой здравомыслящий человек. Через пять лет после падения монархии, после того как испанцы избавились наконец-то от тирании короля и Церкви, консервативно настроенные генералы попытались свергнуть законно избранное правительство Народного фронта и установить в Испании диктатуру. Генерал Франсиско Франко, вождь мятежников, имел тесные связи с нацистской Германией и фашистской Италией. В стране началась гражданская война, в которой националисты сражались с республиканцами – защитниками демократии.

– Да, они расстреливают священников и епископов, – продолжил Эрнест. – Против фактов не попрешь. Но с другой стороны, почему священнослужители поддерживают мятежников?

– Церковь вне политики, – запротестовала Полин.

– В Испании все вовлечены в политику, Полин, – сказала я. – Этим летом в Штутгарте нацистские газеты без конца писали о кровавом отребье, которое нападает на силы закона и порядка, и называли законно избранное правительство красными свиньями. Но у нацистских газет есть один плюс: они помогают определиться. Если Гитлер ратует против чего-то, можно смело выступать «за».

– Если выбирать между патриотами-рабочими и землевладельцами, которые только о себе и думают, то я выступаю на стороне народа. В общем, я за республиканцев, – заявил Эрнест.

– Даже несмотря на то, что сам охотишься вместе с богатыми землевладельцами и охотно пьешь их спиртное, – вставила его жена.

Хемингуэй громко посмеялся над собой и примирительно сказал:

– Даже если так, Полин, даже если так.

Она посмотрела на меня:

– Студж, а ты и правда полагаешь, что Эрнест недостаточно делает для Испании?

Это прозвище предполагало ироничное и одновременно доброе отношение, но в интонации Полин чувствовался намек на неприязнь. К тому времени я уже успела понять, что Эрнест приберегал самые колкие прозвища для тех, кому симпатизировал больше других. Своего издателя Чарльза Скрибнера Хемингуэй за глаза именовал Скрибблс⁴; правда, заставил меня пообещать, что если я вдруг познакомлюсь с ним, то никогда не произнесу это слово в его присутствии.

⁴ Скрибблс (англ. scribbles) в переводе означает «писанина», «каракули».

– Полин, – ответила я, – в Бадахосе фашисты загнали тысячу восьмьсот пленных республиканцев на арену, где проводится коррида, и расстреляли их из пулеметов. Если Гитлер, этот мерзкий психопат, действительно придет им на подмогу пару дивизий, война охватит всю Европу, а то и весь мир, можешь не сомневаться. Как можно оставаться в стороне?

– Но для мира будет лучше, если Эрнест продолжит писать свои романы, – возразила Полин.

– В Испании для писателя тьма сюжетов, – сказал Хемингуэй.

– Твой редактор ждет рукопись романа о кубинском контрабандисте, – напомнила ему супруга.

– Ладно, спешить некуда, война еще не скоро закончится, – признал Эрнест. – А в Мадриде сейчас холодно, как в морге.

Он снова рассмеялся, и все за столом последовали его примеру. Включая и меня, хотя я не могла понять, куда подевался мой вдумчивый собеседник, с которым я разговаривала в саду, мудрый, дальновидный человек, который сокрушался, что уже почти не осталось времени на то, чтобы как-то отодвинуть нависшую над Европой угрозу. Неужели для его исчезновения хватило парочки коктейлей перед ужином?

– Поступай как знаешь, Эрнест, – с натянутой улыбкой произнесла Полин, – ты ведь всегда делаешь только то, что хочешь.

Тут я подумала: пожалуй, слухи о том, что у Хемингуэя был роман с двадцатидвухлетней женой богатого американца с Кубы, вполне могли оказаться правдой. Швед рассказывал мне, что Эрнест с любовницей играли в «Кто первым струсит». Он разогнался на ее спортивной машине, а она не просила его сбросить скорость, даже когда автомобиль заносило на обочину. Впрочем, Полин была умной женщиной. До того как выйти замуж за Эрнеста, она работала журналисткой, писала для «Вог». Она все понимала, но предпочитала не замечать того, что не считала нужным. А не замечала она очень многого: и того, что мы стоим на пороге войны, и того, как сильно мы хотим нежиться на солнце, смеяться и любить, пока еще есть время.

– Вот закончу роман – и сразу в Испанию, – сказал Хемингуэй. – А пока, черт возьми, буду продолжать посылать республиканцам деньги!

– Это просто гениально, Эрнест. – Миловидная Полин поджала губы и на секунду стала похожа на крысу. – Вперед: рискуй жизнью ради горстки недовольных испанцев, а мы с Патриком и Гиги будем здесь умирать от беспокойства. И Хэдли с Бамби тоже.

Эрнест встал, с грохотом отодвинув стул, и пробормотал себе под нос:

– К черту все, хватит уже прикидываться несчастной овечкой! – Он потрепал Патрика по волосам. – Вот ты у нас молодец, Мышонок, ты всегда спокоен. Хороший пример для Гиги.

Сказав это, Хемингуэй потрепал по волосам и Грегори тоже, а потом вышел через арочный дверной проем. А я про себя предположила, что он, должно быть, направился обратно в бар «Неряха Джо» к своим собутыльникам.

Мы с Хемингуэем сидели на скамейке в саду. Я как раз закончила читать последние страницы рукописи романа о кубинском контрабандисте с правками, сделанными его характерным круглым почерком, и теперь говорила Эрнесту, как это гениально, и тут он наклонился ко мне и поцеловал в лоб. Просто на долю секунды прикоснулся губами.

– Дочурка, какая же ты славная.

Я физически ощущала его взгляд. Дочурка... Глаза у Эрнеста были карими и теплыми, а у моего отца – голубыми и холодными. Голос Эрнеста был низким и мягким, а у папы, который всю жизнь говорил с немецким акцентом, резким, не допускающим возражений, как камни, которыми Полин хотела украсить их чудесный сад.

– Не преувеличивай, Папа Хэм, – игриво возразила я, но получилось не очень естественно.

– Ты хорошая девочка, Студж, – серьезно сказал Эрнест, так, словно мог заглянуть мне в душу, словно, читая странички из моей рукописи, узнал обо мне больше, чем я хотела ему открыть.

– Вряд ли, ведь я никогда не делаю того, что следовало бы сделать, – возразила я.

Эрнест наклонился и подхватил на руки пробежавшую мимо кошку.

– То есть то, что считают правильным другие люди, а вовсе не ты сама, – уточнил он. – И впредь поступай так, как считаешь нужным. Главное – быть искренней и говорить правду.

– С искренностью у меня все в порядке, Эрнестино, вот только благодаря этому меня не раз называли конченой эгоисткой.

– Конченой эгоисткой?

Это было определение моего отца, а еще он утверждал, что если я хочу серьезно заниматься литературой, то должна писать, а не капитализировать свои золотистые волосы. В результате я засела в Нью-Хартфорде и писала четыре месяца кряду, ни на что не отвлекаясь, и даже папа не смог подвергнуть критике мою вторую книгу – «Бедствие, которое я видела».

– Сколько людей, столько и мнений. Не принимай это близко к сердцу, Дочурка, – сказал Эрнест.

Он столкнул с коленей кошку с уродливой лапкой, приподнял мой подбородок и посмотрел в глаза так, будто понимал, что я все еще думаю об отце, который так и не дождался, когда я вернусь в Сент-Луис и попрошу прощения за ту муть, которой забила свою голову, и за то, что к двадцати семи годам выдала только две никчемные книжки.

Мы одновременно обернулись, заметив какое-то движение в конце садовой дорожки. У дверей в кухню стояла повариха с полотенцем в руке. Я, поняв, что мы не одни, испугалась, а Эрнест отреагировал на ее появление равнодушно, как будто она была пустым местом.

– Ты хорошая девочка, и хватит уже так переживать из-за своей книги, – заключил он. – Ни к чему понапрасну себя накручивать. Просто пиши, Дочурка. Сядь и пиши.

Ки-Уэст, Флорида *Январь 1937 года*

Когда я была девочкой, мы с Мэти порой садились солнечным субботним утром в дребезжащий, раскачивающийся трамвай и ехали к озеру Крев-Кёр. В нашей корзинке для пикника были сэндвичи, яйца, фрукты и лимонад, а еще томик стихов маминого любимого Роберта Браунинга. Крев-Кёр в переводе с французского означает «разбитое сердце». Если верить легенде, его так называли, поскольку в нем утопилась какая-то влюбленная дурочка. Но я думаю, что на самом деле причина совсем в другом: очертания озера очень напоминают сердечко. Красивые легенды нравятся людям, но обычно они далеки от истины.

Так или иначе, для меня Крев-Кёр ассоциируется не с разбитыми сердцами, а скорее наоборот, с обретенными. Дома моя мама слишком часто отвлекалась на мировые проблемы, но, когда мы с ней устраивали пикник под ивой у водоема, ее сердце принадлежало только мне одной, и никому больше. Склонившиеся к земле ветви ивы окружали наш уютный мирок. Мама читала «Монолог испанского затворника», а тихий плеск воды о камни служил прекрасным фоном, потому что произносимые вслух слова всегда заставляли нас хихикать.

«Бррр... Вот она, ненависть сердца моего!»

Меня всегда завораживали строки: «Я напишу скрофулезный французский роман, скорбным шестнадцатым шрифтом удвоив страницы на серой бумаге».

Однажды я спросила:

– А что такое «скрофулезный»?

– Скрофула, милая, – это болезнь, туберкулез шейных лимфатических узлов. А скрофулезный... я полагаю, это означает «больной», но тут поэт имеет в виду болезнь нравственную.

– Что в романе много плохих слов?

– Думаю, да.

– Не может это слово такое значить! – запротестовала я.

Мама рассмеялась:

– И что же, по-твоему, означает «скрофулезный»?

– Чудесный. Или... восхитительный, с оттенком очарования и шепоткой глупости!

Мэти развеселилась еще больше.

– Новая трактовка от Марты Геллхорн: скрофулезный – это восхитительный, да еще и с оттенком очарования!

– И со шепоткой глупости.

– И со шепоткой глупости, – согласилась она.

В такие дни не было никакой спешки, только синее небо и солнце, которое припекало в самый раз, а мама слушала меня внимательно, не перебивая, и позволяла придумывать значения слов на свой вкус. Весной сладко пахло ландышами и фиалками, которые, расцветая, становились похожи на сердечки, совсем как озеро. Мне всегда хотелось нарвать цветов и сделать букетик для Мэти, но она не позволяла их трогать.

– На цветы можно любоваться, но забрать себе их нельзя. Так обстоит дело со всем прекрасным в этом мире, включая и тебя, моя милая.

Для мамы я была красавицей, она мною любовалась. И Эрнест тоже. «Ноги от шеи и маленькое черное платье. – Таким, как позже признался Хемингуэй, было его первое впечатление, когда он увидел меня в Ки-Уэсте. – Каблуки подчеркивали рост, на таких большинство высоких девушек сутулятся. Светлые волосы, высокие скулы и чувственные губы на личике школьницы. Да уж, ты знала, как на тебя реагируют мужчины».

Ничего я не знала. С чего он взял, что женщины вообще догадываются об этом?

В ту зиму в Ки-Уэсте я еще сомневалась в собственной привлекательности и не знала, что делать со своим телом и сексуальностью. Я была не в состоянии распутать клубок из морали, страха и сентенций Мэти типа «Зов плоти – это вполне естественно, это инстинкт», которые, я уверена, были направлены на то, чтобы помочь мне, но возымели обратный эффект. И единственная настоящая любовь, которая случилась со мной к тому времени, нисколько не помогла. Бертран де Жувенель сам не мог разобраться во всех этих хитросплетениях. А вы бы смогли, если бы ваша мачеха соблазнила вас, когда вы были шестнадцатилетним парнишкой, начитанным и застенчивым? Даже если бы пять лет перед этим она не называла вас Маленьким Леопардом, даже если бы ваша мачеха не была знаменитой Колетт, которая впоследствии написала об этой скандальной связи так, что весь мир ахнул? Когда я познакомилась с де Жувенелем, мне только-только исполнился двадцать один год, и я удивлялась, что в свои двадцать семь он еще ничего не сделал, чтобы изменить мир. Бертран состоял в браке, но на французский манер: они с женой, которая была старше его и имела любовника, жили раздельно. Я влюбилась в Бертрана, как романтическая школьница, то есть по формуле «Адреналин плюс гормоны и ни грамма здравого смысла». Он меня смешил; думаю, это был первый мужчина, который по-настоящему умел меня развеселить. Мужчина, вместе с которым ты смеешься, – что может быть лучше? В тридцать четвертом вышел мой первый роман. К этому времени меня уже упоминали в прессе не иначе как очаровательную мадам де Жувенель. Мы с Бертраном искренне считали себя мужем и женой, однако его законная супруга не желала отказываться от положения, которое обеспечивало ей высокий статус в обществе. В результате ничем хорошим это не закончилось: старая как мир история о доверчивой молодой женщине, любовник которой так на ней и не женился. Что ж, я сама виновата: наивно было полагать, что если супруга Бертрана завела любовника раньше, чем начались наши с ним отношения, то из этого следует, будто бы она согласна на развод.

«Роман с рога носцем» – так папа называл мою первую любовь. Когда я танцевала со Шведом в Ки-Уэсте, отец уже год как умер, но я до сих пор не могла избавиться от этого его явного неодобрения, оно разъедало меня изнутри, словно раковая опухоль. Прежде чем завлекать мужчину, плавая с ним днем и танцуя по вечерам, прежде чем целовать его, мне следовало бы подумать о своей репутации порядочной девушки. Если же я плохая девочка и веду себя соответственно, тогда мужчина вправе ожидать от меня большего, а если плохая девочка не сдает позиции, значит она просто вертихвостка и динамщица. Если ты не девственница, то нечего делать невинное личико. Мне всегда казалось, что я должна давать мужчинам то, чего они от меня хотят. Думаю, подсознательно я верила в то, что стоит мне найти правильного мужчину, как болезненное отвращение к себе сразу пройдет. А оно действительно было болезненным. На физическом уровне. И со Шведом я повела себя по шаблону: расплатилась за танцы по вечерам и веселую компанию.

А утром проснулась и, как всегда, сразу поняла, что не чувствую того, что должна чувствовать женщина, проснувшись в постели с мужчиной. Я сожалела о том, что занималась любовью, сожалела обо всем, что причиняло боль, и о том, что ее не причиняло. Я раскаивалась абсолютно во всем: в том, что плавала со Шведом в море и танцевала с ним, в том, что целовала его, позволяла себя обнимать и запрыгнула к нему в постель. Мне надо было поскорее сбежать прочь – от стыда за то, кем я была и кем не была, ретироваться первой, пока меня не бросили.

Когда друг семьи предложил подвезти меня до Майами, я, не раздумывая, собрала вещи и попрощалась с Полин, Эрнестом и мальчиками. Приехав домой в Сент-Луис, я написала Полин, какие у нее чудесные дети, какой чудесный муж и какая чудесная она сама. В общем, поблагодарила гостеприимную хозяйку за то, что она столь любезно терпела мое постоянное присутствие в их доме. Сообщила, что пишу по дюжине страниц в день и твердо намерена закончить книгу, чтобы иметь возможность снова куда-нибудь поехать. А еще я послала ей фотографии Бертрана, хотя упоминать о бывшем любовнике не было никакого смысла, разве

только для того, чтобы жена Эрнеста не подумала, будто я могу представлять угрозу для ее брака. К тому времени Хемингуэй стал звонить мне из Нью-Йорка, куда поехал повидаться со своим издателем. Звонил он, как я думала, потому, что со мной, в отличие от Полин, можно было поговорить об Испании, а также обсудить литературные дела, не задевая при этом кого-нибудь из нью-йоркской писательской братии, с которой лучше было не связываться. Эрнест жаловался, что редактор журнала «Эсквайр», где планировали опубликовать с продолжением его новый роман, задает ему глупые вопросы. Хотя, если честно, мне эти вопросы не казались такими уж бессмысленными, поскольку меня они тоже волновали. Например, мне было интересно, не слишком ли часто Хемингуэй в своих художественных произведениях изображает в карикатурном виде вполне реальных людей.

– Мне надо в Испанию, – объявил Эрнест. – Так что пусть редактор сидит на заднице ровно и ждет до июня. – Я, кстати, и Макса Перкинса тоже послал куда подальше.

– Ну, это уже перебор, с Перкинсом надо было как-нибудь повежливее, – тихо, так, чтобы не услышала Мэти, ответила я в черную телефонную трубку.

Макс Перкинс – редактор из издательства «Скрибнер», старомодный тип, из тех, кто носит под пиджаком жилет и завязывает забавные клетчатые галстуки на виндзорский узел, – был настолько вежлив в общении, что даже мужланы вроде Хемингуэя старались не употреблять при нем слово «задница».

– Ничего, переживет! – бушевал Эрнест. – Я так ему и сказал: не нравится – катись к черту!

Из «Скрибнера» Хемингуэй отправился прямиком в Североамериканский газетный альянс, который объединял пятьдесят самых крупных газет страны. Там он подписал контракт, по условиям которого ему обязались платить тысячу долларов за полноценную статью об Испании и пятьсот – за телеграфную заметку, то есть по доллару за слово, в то время как лучшие журналисты тогда могли только мечтать о таких гонорах.

Но Эрнест все равно был зол и честил всех подряд: «Эсквайр», Макса Перкинса и свою невестку, которая жила в Нью-Йорке и решительно возражала против его отъезда в Испанию, приняв сторону Полин. А еще он жутко расстроился, после того как навестил сына близких друзей, который умирал в санатории в Адирондакских горах. Бедный парень семь лет боролся с туберкулезом, а его старший брат двумя годами раньше скончался от менингита. Я понимала, что Эрнест далеко не подарок, но сердце у него было доброе, большое и щедрое, и меня очень радовали его звонки. Я любила слушать, как он, весь на взводе, говорил об Испании или рассказывал о своих писательских делах, в то время как меня постепенно накрывал кошмар Сент-Луиса и мне уже начинало казаться, что я единственная девушка во всем городе, у кого нет желания подыскивать платье, идеально подходящее для свидания с каким-нибудь до зевоты respectableм мужчиной.

Эрнест передал мой рассказ – я назвала его «Изгнание» – своему редактору. Издатель, Чарльз Скрибнер, лично написал, что хотел бы напечатать его в своем журнале, но только при условии, что я его сокращу. Я старалась не заморачиваться по поводу того, что Скрибнер отнесся к моему рассказу как к костюму, который следует подогнать под нужный размер: тут ушить, тут слегка укоротить. Вообще-то, у меня были свои собственные стандарты. Я могла писать на заказ статьи для газет, считая подобное вполне нормальным, но художественная литература – это совсем другое. У моих слов была отличная выдержка, как у бордо урожая 1929 года, а теперь пришла пора излить их на бумагу и поделиться своими мыслями с читателем.

– Не капризничай, Студж, Скрибблс плохого не посоветует, – увещевал меня Эрнест. – Поверь, твой текст от этого только выиграет.

Я и не думала капризничать. На самом деле я переживала из-за того, что надолго застряну в Сент-Луисе, respectableная жизнь которого, со всеми этими клубами, вечеринками и теннисными кортами, навевала на меня невероятную скуку. Чтобы окончательно не закиснуть, я

работала в Красном Кресте и помогала жертвам наводнения на юге Миссури. А также переписывалась с Бертраном: он тогда еще жил в Париже и, как и я, подумывал о том, чтобы поехать репортером в Испанию. А что касается рассказа, то я сократила его, как того хотел Скрибнер: в конце концов, это же была не книга, а всего лишь рассказ для журнала, который обычно читают в дороге.

И я наконец-то приступила к роману: засела на третьем этаже, как рак-отшельник, и только изредка выглядывала в окно на Макферсон-авеню, благо все было затянуто туманом и смотреть было не на что. Я тогда строго следовала принципу: отрабатывать одну главу по максимуму и только потом переходить к следующей. Я хотела написать по-настоящему хорошую книгу и тщательно подбирала слова, чтобы они действовали на читателя так же, как действовала на меня проза Хемингуэя, но все топталась на месте и никак не могла продвинуться вперед. Миссис Рузвельт, когда я поведала ей о своих проблемах, предположила, что я просто мандражирую, потому что одержима поиском идеально правильных слов, и посоветовала не торопиться с правкой и сочинять дальше. Я последовала ее совету и писала как каторжная по десять страниц в день, невзирая на настроение, самочувствие или погоду. Я напряженно работала, но при этом краем уха слышала, как нарастает гул войны в Испании. Хемингуэй мог организовать мою командировку в Мадрид и настойчиво предлагал помощь, но что-то меня отпугивало, я панически боялась стать ему обязанной или попасть под его опеку.

Закончив черновик романа, я отослала его Аллену Гроверу, журналисту из «Тайм». Мы с Алленом за несколько лет до этого пять минут были больше чем просто друзьями, но в результате сохранили хорошие отношения и были искренни друг с другом, что очень важно для любого писателя.

Гровер назвал мой роман реалистичным политическим памфлетом, но не ахти какой историей.

Я забросила книгу, к чертовой матери, и написала Бертрану, чтобы он, если сможет, пока не уезжал и дождался меня в Париже. Хемингуэю я написала, что встречу с ним в Нью-Йорке по пути в Испанию.

Нью-Йорк, Нью-Йорк *Февраль 1937 года*

В Нью-Йорке с Эрнестом было, мягко говоря, непросто, но это был его фирменный стиль: грубиян, бахвал и вечно в подпитии. И всегда с компанией. Мы постоянно откуда-то куда-то шли, утихомиривались на ночь, а затем, слегка оклемавшись днем, вновь отправлялись на поиски приключений, в клуб «Аист» или в ресторан «21». Название последнего заведения отнюдь не подразумевало, что оно предназначено исключительно для юнцов: мне к тому времени уже исполнилось двадцать восемь, а Хемингуэю – тридцать семь, но мы вовсе не были старше всех остальных посетителей. Это был просто адрес: дом номер 21 по Западной Пятой улице, где во времена сухого закона располагался подпольный бар со швейцаром и статуэткой жокея на входе. С виду самое обычное здание из красно-коричневого песчаника, окруженное кованой оградой. Пока не окажешься внутри, ничего такого даже и не заподозришь. Миновав обшитую деревянными панелями барную стойку, мы затем шли через зал с подвешенными к потолку макетами кораблей и автомобилей в специальный кабинет, где Эрнест и его приятели часами обсуждали, как они будут снимать документальный фильм, который изменит будущее Испании. Режиссером «Испанской земли» (так называлась эта лента) должен был стать голландец Йорис Ивенс. Этот голубоглазый симпатяга с густыми черными волосами и ямочкой на волевом подбородке, не дурак выпить, производил на женщин неотразимое впечатление: ну просто эталон мужской красоты, каким его представляют не слишком далекие дамочки.

– Студж тоже собирается в Испанию, – сообщил своим друзьям Эрнест. – Ждет, когда бумаги будут готовы.

– Мы с Эрнестино сообщники. Я уже купила накладную бороду и черные очки, – пошутила я, пытаясь завоевать их сердца своим оранжевым платьем и старой доброй самоиронией. – Будем держать рот на замке и прикидываться физкультурниками.

Но из-за Соглашения о невмешательстве я как гражданское лицо не могла поехать в Испанию без специальной визы, а Эрнест, хотя у него самого документы уже были готовы, словно вдруг позабыл о помощи, которую прежде регулярно предлагал мне по телефону. Он мог без умолку – с паузой на глоток виски – рассказывать об обороне Мадрида и битве при Хараме, рассуждать о том, что фашизм и хороший язык несовместимы, о том, что мы должны забыть о собственном благополучии и внести свою лепту в общее дело... Он говорил, а я смотрела на него и понимала, что вижу перед собой мужчину, который хочет поехать в Испанию, но совсем не хочет оказаться на войне.

Чтобы получить проездные документы, я выдумала какую-то бредовую легенду, будто являюсь специальным корреспондентом «Кольерс», и чуть ли не на коленях уговаривала их редактора, с которым была знакома, мне подыграть. И только он согласился, как Эрнест «поднял паруса» и отплыл в Париж, прихватив с собой Сидни Франклина, матадора из Бруклина, с которым познакомился в Испании, когда писал «И восходит солнце». Этот крепкий мужчина с пшеничными волосами совершенно не разбирался в политике и даже толком не представлял, что за фильм они будут снимать. А я, чтобы оплатить дорогу до Парижа, выбила для себя заказ от «Вог» – написать ерундовый материал на тему «Как женщинам среднего возраста оставаться красивыми». Собирая материал для этой статьи, я неудачно испробовала на себе новое средство, содрав кожу на лице буквально до мяса. В результате, отплывая из Нью-Йорка, я являла собой ужасное зрелище. Вдобавок в каюте у меня взорвался радиатор, телефон работал как бог на душу положит, а лифт и звонок вызова персонала на этом корабле вообще не функционировали. Но ради того, чтобы заработать на переезд в Европу и получить возможность писать о

войне в Испании, я бы и танец с веерами на Таймс-сквер исполнила, и арию из «Аиды» в Центральном парке спела.

Говорят, ретроспективный взгляд дает четкую картинку, но это не так, он замутнен окулярами, в которых мы плывем по жизни. Очки ностальгии или очки сожаления? Чувствуете разницу? Оглядываясь назад, могу сказать, что моя жизнь похожа на серию забегов навстречу опасности и новым впечатлениям. Я писала о первых годах правления Гитлера, о гражданской войне в Испании и о Второй мировой войне, о войне в Корее и во Вьетнаме, о вооруженных конфликтах в Латинской Америке. О вторжении США в Панаму я писала, когда мне исполнился восемьдесят один год. Многие тогда сочли мое поведение безрассудным, но мне кажется, что все обстоит с точностью до наоборот: в том, чтобы вести себя в соответствии со своим возрастом, то есть по-старушечьи, настолько мало смысла, что как раз решение сидеть дома было бы с моей стороны крайне неразумным. Хотя в мои личные окуляры трудно разглядеть, в каком направлении я бегу, а компанию мне составляет призрак в нелепой дорожной шляпке.

Свой первый забег я совершила, когда мне еще не было и двадцати. Я успела завалить экзамены в Брин-Маре, однако при пересдаче получила высшие баллы по всем предметам. Даже не знаю, что разозлило отца больше. До следующей сессии дело не дошло: я загремела в больницу, попав в лапы столь жестокой депрессии, что не было сил даже вылезти из кровати. В результате я бросила колледж и вернулась в Сент-Луис, а затем, маленько оклемавшись, отправилась в Нью-Йорк. Там я правила в журнале гранки: орфографические ошибки, пунктуация, в качестве апофеоза – стилистические погрешности вроде двух «который» в одном предложении. А потом мне удалось опубликовать статью о Руди Валле. Думаю, ее сочли очень удачной по той простой причине, что никто из журналистов старше меня не мог объяснить, чем так пленяют слушателей его волнистые волосы и тихий хрипловатый голос. Благодаря этому материалу и еще одной статье я получила работу корреспондента в Олбани. Писала репортажи о преступлениях и разводах, но до развода редактора раздела городских новостей, от чьих пьяных приставаний я постоянно вынуждена была отбиваться, дело, слава богу, не дошло. В конце концов мне это надоело (похоже, скука – мой бич), я вернулась домой и была вынуждена выслушивать речи отца, настойчиво призывавшего меня продолжить учебу в колледже. Не в силах вынести семейный уют, я вновь сбежала в Нью-Йорк, где некоторое время жила у брата, собираясь с духом, чтобы уехать в Париж. Там я планировала найти хоть какую-нибудь работу, жить экономно, насколько это было возможно по тем временам, и писать.

Честно говоря, мне тогда даже в голову не приходило, что на самом деле я хочу сбежать подальше от яростного отцовского порицания, хотя сейчас это ясно видно, сквозь какие очки ни посмотри. Прощаясь с папой на железнодорожном вокзале в Сент-Луисе, я начала плакать. Отец всегда стеной стоял за независимых женщин, в то время как другие их осуждали, но как-то так получилось, что он вдруг стал меня стыдиться.

Папа терпеть не мог женские рыдания, а тут рыдала его собственная дочь, да еще в общественном месте, где нас могли увидеть знакомые. Он сурово потребовал, чтобы я немедленно взяла себя в руки, что, однако, возымело прямо противоположный эффект.

Когда на платформе я шагнула к отцу, чтобы поцеловать его на прощание, он отстранился у всех на глазах. Я вытерла слезы, высморкалась и притворилась, будто с интересом разглядываю свою шляпку; шляпка была довольно невзрачная, трудно было даже представить, что когда-то она могла мне нравиться.

Как только поезд набрал скорость, увозя меня в новую жизнь, я опустила окно и швырнула проклятую шляпку в мутные воды Миссисипи. Прощай, шляпка! Прощай, Сент-Луис! Прощай, Мэти! Я уезжаю, чтобы скорбным шестнадцатым шрифтом писать на серой бумаге скрофулезные французские романы. Прощай, отец, жестоко разочаровавшийся в завалившей экзамены слезливой дочери! Прощайте, одиночество в школьном буфете, и вонь мокрой шерсти в раздевалке, и стояние у стены в спортзале, пока все остальные танцуют вальс!

Дурацкая шляпка даже до реки не долетела. Она приземлилась на соседние пути, где ее наверняка раздавил идущий обратно поезд, хотя, кто знает, может, он доволоч ее до самого Сент-Луиса.

В тот приезд в Париж я познакомилась с Бертраном де Жувенелем, которого, несмотря ни на что, сейчас очень хотела увидеть снова. К сожалению, из-за волокиты с оформлением проездных документов я сильно задержалась. Так что он не стал меня дожидаться и, когда я наконец прибыла в Париж, уже укатил в Испанию.

«Крольчонок, ты небось думаешь, что я спятил и марширую в одном строю с солдатами», – писал он мне. На самом деле Бертран, бывший корреспондентом «Пари суар», жил в отеле в компании журналистов из «Чикаго трибьюн», «Нью-Йорк геральд трибьюн» и лондонской «Дейли мейл».

Париж, конечно же, несмотря ни на что, по-прежнему оставался Парижем. Жозефина Бейкер все так же пела в «Фоли-Бержер», а Морис Шевалье – в «Казино». Правда, в столице Франции было так сыро, что Сена грозила выйти из берегов. Люди были либо недовольны, либо раздражены, а то и вовсе пребывали в бешенстве, и причин у них, надо сказать, хватало: повсеместная дороговизна, некомпетентность правительства, протесты рабочих... даже книги, которые выходили в ту пору.

Хемингуэй к тому времени тоже уже отбыл в Испанию, и все мои попытки найти другого журналиста, с которым я могла бы поехать следом за ним, не увенчались успехом. Оставалось только ждать в тени Эйфелевой башни, пока французские власти оформят мне проездные документы, они ведь так хорошо помогали Испании и противостояли Гитлеру и его приспешникам, то есть тянули и тянули до бесконечности.

Париж, Франция *Март 1937 года*

Бюрократическая волокита наконец-то закончилась. Я изучила карты, надела серые брюки из грубого вельвета, свитер и ветровку, упаковала в рюкзак смену одежды и брусок мыла, а в брезентовую сумку – консервы и, ни слова не зная по-испански и с последними пятьюдесятью долларами в кармане, села в Париже на поезд, который шел на юг. Ехала вторым классом, сделав пересадку на подъезде к границе с Испанией. Когда я проснулась с восходом солнца или когда оно встало вместе со мной, за окном проплывали белые и розовые деревья в цвету. А час спустя пошел снег, и белые хлопья были такими же крупными, как цветы на деревьях.

Ширина железнодорожной колеи во Франции и Испании была разной, так что границу пришлось переходить пешком. Стоя в одиночестве на платформе, я наблюдала за тем, как французский поезд дал задний ход и исчез. Поля вокруг были белыми, и щеки у меня стали бы такими же, если бы не покраснели от холода. Я чувствовала себя почти на войне, в ожидании войны, и была готова к тому, что платформа в любую минуту взлетит на воздух, но, разумеется, эти ощущения не идут ни в какое сравнение с теми, которые испытываешь, когда вокруг падают бомбы, а люди целятся, стреляя друг в друга.

Я надела рюкзак и потащила по снегу через границу. Холод, пожалуй, был своего рода благословением: он дарил надежду на то, что я замерзну до смерти прежде, чем меня убьют.

Пограничник проверил мои документы, оформленные французскими крючкотворами с их крючковатыми подписями в соответствии с Соглашением о невмешательстве в дела Испании, и поставил штамп в паспорт. Потом я села в поезд до Барселоны. Вообще-то, это был не поезд, а груда металлолома без отопления и элементарных удобств, разве что снег падал не внутри, а снаружи да окна с переменным успехом защищали от ветра. Вагоны были забиты шумными новобранцами, которые стремились присоединиться к республиканцам. Эти ребята были одеты кто во что горазд, как в партизанском отряде, где бойцы сами отвечают за свое довольствие и обмундирование. Но я хорошо чувствовала себя в их компании: до чего же здорово было увидеть отважных парней, которые готовились отогнать фашистов от Мадрида. Их предали все правительства мира, они могли рассчитывать только на себя, в то время как Гитлер и Муссолини снабжали мятежников генерала Франко оружием и всем необходимым. Мои попутчики были славными ребятами, они угощали меня чесночной колбасой и хлебом, который на вкус напоминал мел, умолкали на остановках, когда в наш вагон заглядывал их командир, и снова принимались шуметь, как только состав трогался с места.

Барселона, когда я туда приехала, буквально кишела вооруженными винтовками солдатами, стены домов на пешеходной улице Рамбла в центре города пестрели политическими плакатами, и еще повсюду были развешены красные вымпелы. Было холодно, просто чертовски холодно, и во всем городе, даже в отелях, днем с огнем не найти ни угля, ни сливочного масла. Однако мне все равно там понравилось. Так жить гораздо веселее, согласны? Все гостиницы были под завязку набиты готовыми погибнуть на фронте молодыми англичанами и американцами, однако сотрудники созданного республиканцами Министерства пропаганды помогли мне найти свободный номер. Я настолько вымоталась, что крепко проспала всю ночь, и даже бомбежка не помешала.

Только через два дня блужданий по Барселоне я сумела найти попутку до Валенсии, а уже там служащая из пресс-бюро правительства подыскала для меня машину, на которой я могла добраться до Мадрида.

– Поедете вместе с Тедом Алланом. Это молодой канадец, новобранец из интернациональных бригад, – пояснила она; интербригадами назывались вооруженные подразделения, в

которых на стороне республиканцев сражались иностранцы. – Тед снимает фильм о хирурге, который основал одну из первых на фронте мобильных станций переливания крови.

Когда при знакомстве я обратилась к своему попутчику «мистер Аллан», его усталое лицо моментально осветилось улыбкой.

– Можно просто Тед.

– Вы не похожи на просто Теда, – пошутила я. – Вы больше похожи на мистера Аллана. Или на просто Аллана.

Он непринужденно рассмеялся, хотя после нескольких месяцев в интернациональных бригадах у него было достаточно причин потерять эту способность.

– Да вы никак ясновидящая! А ведь вы правы: на самом деле меня зовут Алан. Алан Херман.

– Значит, вы сменили не только имя, но и фамилию? – спросила я и откинула волосы со лба.

Небрежно этак откинула со лба свои золотистые волосы – жест, который мой отец считал бы постыдным.

– Ну да, я люблю перемены, – кивнул Тед.

Я позволила себе пристально посмотреть ему в глаза. Мне было интересно, что в действительности представляет собой этот симпатичный парень из Монреаля, который захотел стать героем Испании. Молодой, смелый, с черными, как у цыгана, глазами, энергичный, уверенный в себе и в то же время лукавый – перед такими мне всегда трудно было устоять. Помимо съемок фильма о подразделении по переливанию крови, Тед писал репортажи для канадской газеты и работал на радио Мадрида.

– И что же сподвигло такую симпатичную девушку приехать сюда и рисковать жизнью, помогая испанцам? – спросил он.

– Я из Сент-Луиса. – (Он снова рассмеялся.) – И я люблю жизнь, – добавила я.

В этот момент я вдруг вспомнила Бертрана и подумала, что этот парень, Тед Аллан, если не держать ситуацию под контролем, тоже на какое-то время может завладеть моим сердцем.

За нами приехал «ситроен» с водителем-испанцем и матадором Сидни Франклином на пассажирском сиденье. Похоже, они основательно затарились: я увидела в автомобиле две пишущие машинки, полдюжины свиных окороков, кофе в таком количестве, что его хватило бы, чтобы долететь до Юпитера, ящик с апельсинами, лимонами и лаймами и банок пятьдесят мармелада. А еще сливочное масло.

Во всей округе нет масла? Можете положиться на Эрнеста Хемингуэя – он найдет. Или пошлите вместо него Сидни Франклина.

– Марта, – вместо приветствия сказал Сидни.

Он произнес мое имя отрывисто, как коренной житель Нью-Джерси. Одно только имя, но этого хватило, чтобы выразить неприязнь, которую я ощутила еще в Нью-Йорке.

– Что ж, чувствую, будет та еще поездка, – заметила я. – С Сидни Франклином из Бруклина, чья настоящая фамилия Фрумкин, и с Тедом Алланом, который на самом деле Алан Херман из Монреаля.

Я мельком глянула на Теда. Мне хотелось, чтобы он рассмеялся, и в то же время я немного этого опасалась. Подшучивать над Сидни было рискованно: он запросто мог вырубить шутника одним ударом. Нет, он, конечно, не супермен, но как-никак матадор, причем очень хороший. И если здесь, в Испании, Сидни Франклин был у Эрнеста мальчиком на побегушках, то это немало говорило о самом Хемингуэе.

Сидни достал из кармана носовой платок и высморкался.

– Рад знакомству, – сказал ему Тед. – Одну минуту, сейчас мы с Марти устроимся сзади.

И мы с Тедом, прихватив наши пожитки, протиснулись на заваленное багажом заднее сиденье. Дорога бежала по прибрежным горам и уходила к белесым холмам и полям Ла-Манчи.

Печка в «ситроене» грела слабо и находилась далеко от нас, но мы обратили тесноту в свою пользу: сидеть, прижавшись друг к другу, всегда теплее.

Тед делился со мной деталями того, чему был свидетелем на передовой. Незадолго до нашей встречи он отвозил съёмочную группу на фронт у реки Харамы, в районе города Мората-де-Тахунья.

– Я надеялся, что найду там кого-нибудь из своих товарищей по интернациональной бригаде, – рассказывал он, и в голосе его уже не было и намека на веселость, – но все двадцать ребят, с которыми я переплыл Атлантику, погибли в оливковых рощах на высоте Пингаррон.

– Гора смерти, – вздохнула я.

Не было смысла о чем-то умалчивать, и Тед рассказал мне все в подробностях. О том, как мятежники Франко три недели назад перешли в наступление с целью до начала весны взять Мадрид в кольцо. За каких-то два дня они заняли Бриуэгу, укрепленный город в восьмидесяти пяти километрах к северо-востоку от Мадрида. Тед и сам едва не погиб двенадцатого февраля, когда их фургон из подразделения по переливанию крови на пути к передовой буквально изрешетило пулями. Но благодаря перемене погоды республиканцы смогли послать в помощь пехоте бомбардировщики и отбили наступление противника.

– Первая за восемь месяцев достойная победа хороших парней, – сказала я.

– Кто-то еще не верит, что у Муссолини есть в этой войне свой интерес, – заметил Тед. – А как иначе объяснить, что при отступлении франкисты бросили грузовики «ляпча» и тягачи «фиат», да еще кучу мешков с почтой, где на конвертах сплошь итальянские адреса? Этот плюгавый дуче считается с Соглашением о невмешательстве не больше, чем Гитлер считается с евреями.

Мы с Тедом всю дорогу болтали и смеялись – когда окажешься в серьезной переделке, а жить хочется, то всегда найдешь повод для веселья, – а Сидни закипал от злости на своем более или менее теплом пассажирском сиденье, то и дело сморкался и недовольно зыркал на нас через плечо.

По мере приближения к Мадриду нам становилось не до смеха. По дороге ехали караваны грузовиков и шли солдаты. А когда мы остановились у блокпоста, чтобы показать свои документы, вдалеке что-то загрохотало, хотя небо было ясное.

– Это пушки? – спросила я.

– Да, – кивнул Тед.

Мы поехали дальше. Из-за горизонта нам навстречу постепенно поднимался окутанный дымом бомбежек силуэт Мадрида.

Улицы Мадрида напоминали лабиринт из воронок, на каждом перекрестке – блокпосты и заграждения из вывороченной брусчатки, туда-сюда сновали желтые трамваи, машины и армейские грузовики с солдатами.

И повсюду развешены транспаранты: «EVACUAD. Confiad vuestra familia a la REPUBLICA» и «¡¡MADRES!! Proteger vuestros hijos».

– «Эвакуируйтесь. Доверьте Республике свои семьи. Матери! Защитите своих детей», – перевел мне Тед.

Франко поклялся, что скорее уничтожит столицу, чем отдаст ее врагу, и с помощью германской авиации методично, сектор за сектором, сбрасывал на город зажигательные бомбы.

Мы ехали по Мадриду, вдыхали пыль после дневной бомбежки и сказочный аромат кофе, который тянулся из дворов. Фасады домов местами обрушились, и квартиры – спальни, кухни и столовые – были видны как на ладони. В руинах копошились дети: собирали обломки мебели, чтобы топить печки. Когда мы объезжали выложенную по кругу стену из кирпичей, Тед объяснил мне, что это ограждение построено, чтобы защитить от бомбежек знаменитый фонтан Сибелес.

– Богиня Кибела, олицетворяющая мать-природу, на запряженной львами колеснице, – снисходительно вставил Сидни. – Любой, кто хоть что-то слышал о Мадриде, знает, что это главный символ города.

К тому времени, когда мы подъехали к отелю «Флорида», великолепному мраморному зданию в десять этажей на площади Кальяо, я поняла, что матадор симпатичен мне не больше, чем я ему.

А вот Тед, в отличие от Сидни, мне действительно очень понравился. Пока мы выгружались из машины, он поинтересовался, когда мы увидимся в следующий раз.

– По-твоему, это самое романтическое место для свиданий? – вопросом на вопрос ответила я, разглядывая окрестности.

Кроме гостиницы, на площади также находились обложенный мешками с песком кино-театр (на нем красовалась афиша фильма «Дэвид Копперфильд» с Лайонелом Барримором) и магазины с обклеенными защитными лентами витринами, в которых еще были выставлены меха и французский парфюм.

Тед рассмеялся; его смех, казалось, разогнал мрак, холод и накрывший город страх, он даже как будто защитил меня от осуждающего взгляда Сидни Франклина.

– Марта, давай через пару часов? Мне сперва надо наведаться в подразделение по переливанию крови, но теперь у меня есть причина поторопиться.

Отель «Флорида». Мадрид, Испания *Март 1937 года*

Скучающий консьерж за стойкой на ресепшене разглядывал коллекцию марок. На рекламной стойке «Возьми с собой» гостей ждал один-единственный потрепанный буклет кубинского отеля. За шесть месяцев регулярных артобстрелов с холма Гарабитас отель частично лишился замковых камней, а стеклянный атриум покрылся сажей, отчего обстановка казалась гнетущей, но, несмотря на все это, Хемингуэй, Херб Мэттьюс из «Нью-Йорк таймс» и Сефтон Делмер из «Дейли экспресс» остановились именно во «Флориде».

– Я мог бы предложить вам просторные и комфортабельные апартаменты с видом на castillo⁵ – castillo семнадцатого века, – и всего за один доллар, – признался консьерж. – Но сеньор Хемингуэй сказал, что вас следует поселить в лучший номер, поэтому вынужден предложить вам комнату, окна которой выходят в переулок. Это дороже, но зато там безопаснее. – Он кивнул в сторону фасада. – Обстреливают с той стороны.

Простая логика подсказывала, что до тех пор, пока фашисты кардинально не изменят свои огневые позиции, дома напротив будут прикрывать гостиницу от обстрелов. Да, мы находились чертовски близко к передовой, настолько близко, что военные использовали высотное здание компании «Телефоника» как башню для наблюдения за передвижениями отрядов Франко, но для журналистов это был настоящий подарок судьбы.

Служащий отеля сказал, что мы найдем своих в ресторане на Гран-Виа.

– Ресторан, увы, уже не тот, что до войны, так что на многое не рассчитывайте. – Он подхватил мою сумку и повел в номер, видно решив, что мне не терпится попасть на Гран-Виа до следующего обстрела. – Третий этаж, лифт не работает – с электричеством перебои.

В номере я первым делом достала из сумки самое большое свое богатство – брусок мыла, поднесла его к носу и вдохнула легкий медовый аромат, сладкий, как близость с любимым, смыла с лица дорожную грязь, после чего обтерла мыло досуха и спрятала его в карман пальто. А потом вместе с Сидни Франклином, который на самом деле был Сидни Фрумкином, отправилась в ресторан повидаться с другими журналистами, пока Тед Аллан, он же Алан Херман, был занят тем, что предписывал ему долг.

Сидни торопливо, чуть ли не подталкивая в спину, вел меня по той стороне улицы, которая, по его расчетам, была менее опасна во время артобстрелов. И буквально через несколько минут мы добрались до здания, где из цокольного этажа доносились громкие голоса и бряканье столовых приборов. Это и был тот самый ресторан на Гран-Виа. Я даже обрадовалась, когда охранники на входе не только потребовали у нас удостоверения журналистов, но и взяли дополнительную плату за посещение заведения, потому что оно находилось ниже уровня трогуара, а значит, в безопасном месте.

В плохо освещенном зале за длинным и грязным столом на деревянных лавках сидели журналисты, солдаты, бойцы Народной республиканской милиции и проститутки, которых Хемингуэй, когда был навеселе, называл боевыми подстилками. В зале воняло так, будто в кухне жарили мула или осла, а может, кобылу. А еще воздух был настолько прокурен, что я легко обошлась без сигарет: один вдох был равносителен затяжке.

Хемингуэй превзошел себя. Таким замызганным я его еще не видела: грязная рваная рубашка, брюки такие, что просто ужас, а на голове берет им под статью. Он громогласно рассказывал всем о прошедшем дне: послушать его, так создается впечатление, будто Эрнест голыми руками ловил бомбы и кидал их обратно в фашистов. Я смотрела на него и поражалась: откуда

⁵ Замок (исп.).

у этого мужлана дар найти слова, которые заворожат любого слушателя? Ну и разумеется, он не был трезв, это было видно невооруженным взглядом.

Заметив меня, Эрнест поправил очки в круглой оправе так, будто не был уверен, я это или не я, и улыбнулся, как хлебосольный хозяин. Он, конечно, был тем еще олухом, но в него нельзя было не влюбиться.

Я подошла к Эрнесту и стянула у него с головы берет:

– Хемингуэй, где твои манеры?

– Дочурка, я знал, что ты сюда доберешься! – И с этими словами он погладил меня по голове, как будто я и правда была его маленькой смекалистой дочкой.

– Да неужели? И откуда, интересно?

Господи, как же я была рада оказаться в Мадриде!

– Знал, – повторил Эрнест, – потому что сам лично все это устроил.

Я улыбнулась, как наивная девочка, хотя мне очень хотелось взять и припечатать этот грязный берет к его физиономии. Да, возможно, Хемингуэй приложил руку к тому, чтобы я благополучно доехала из Валенсии до Мадрида, но дорогу от Сент-Луиса до Валенсии я уж точно оплатила собственными потом и кровью.

– Эрнестино, ты хочешь сказать, что устроил мой переезд в Испанию? Не смеши меня. Я сама сюда добралась из Штатов. – И тут я на глазах у всех, как хорошая дочка, поцеловала его в небритую щеку. – Несто организовал мою поездку? Ха! И какой же отрезок пути, по-твоему, понравился мне больше всего? Наверное, когда я в Нью-Йорке умоляла редактора «Кольерс» взять меня к ним хотя бы курьером? Или когда валялась в ногах у парижских чиновников, чтобы они позволили мне въехать в Испанию? И да, это было еще до того, как я тащила свою замерзшую задницу через границу и все думала, как бы меня не пристрелили. По сравнению с таким переходом пара суток в неотопливаемом эшелоне – просто роскошь. Как подумаю, что могла доехать ночным поездом до Тулузы, как наш Эрнесто, а потом самолетом долететь прямо сюда, так чувствую себя круглой душой.

Все присутствующие дружно рассмеялись, за исключением проституток, которые то ли не понимали по-английски, то ли просто были не большого ума, а скорее всего, и то и другое. Ну подумайте сами, какие еще женщины станут продавать себя в прифронтовой зоне?

– Если кто не знает: это Марти Геллхорн, – представил меня Хемингуэй компании за столом. – Ох и язва! Хотя с кем сейчас легко? Да ни с кем. Но зато ноги у нее лучше всех!

Эрнест попросил американского летчика потесниться, и я села на освободившееся рядом с ним место.

Он пододвинул мне стакан с виски и жестом подозвал официанта, попросив еще одну порцию спиртного для себя и что-нибудь поесть для меня, а потом обратился к Франклину:

– Сидни, а почему бы тебе не рассказать Студж о том, как ты добирался в Испанию?

– Ты имеешь в виду, как на площади в Тулузе я без документов подкатил к солдатам и убедил их, что должен поехать именно в том автобусе? – Сидни повернулся ко мне, и я увидела, каким напряженным может быть это милое лицо; наверное, так он выглядел на арене во время корриды. – Или как мы шли на свет фонарика через поле, где нас в любую секунду могли пристрелить пограничники?

– Нет, – покачал головой Эрнест, – не про это. Лучше расскажи, как ты переходил реку вброд.

– А-а, это и правда смешно. – Франклин снова посмотрел на меня. – Метров двадцать пять в ширину была та речка, не меньше. На дворе зима, а глубина по подбородок, местами и поглубже. Поплыл бы, да фиг поплывешь, когда над башкой узел со шмотками держать надо.

Сидни достал носовой платок и снова высморкался: все еще не мог поправиться после рискованного перехода границы, который совершил только ради того, чтобы стать мальчиком на побегушках у Хемингуэя.

Эрнест с довольным видом, словно это он лично организовал путешествие Сидни, обратился ко всем собравшимся за столом:

– Пока война не закончилась, всегда есть шанс, что тебя убьют. Но какой смысл понапрасну волноваться? Мы живы, а значит, мы должны писать.

Я пригубила какое-то крепкое пойло. Конечно, лучше бы это был свежавыжатый апельсиновый сок, но зато сейчас я могла поговорить о писательстве или послушать разговоры на эту тему, пока официанты подавали вино и виски и приторговывали контрабандными сигаретами по пятнадцать песет за пачку.

– Жить куда сложнее, чем умирать, и будь я проклят, если писать проще, чем жить! – провозгласил Хемингуэй, осушив половину стакана только что поданного виски.

Да, он был пьян. Как и все присутствующие за столом, которые пили ничуть не меньше Эрнеста и звали его Папой. Разговор крутился вокруг Гвадалахары, города в шестидесяти километрах к северо-востоку от Мадрида, где республиканцы удерживали позиции, отбивая атаки итальянских танков. И все это время шлюхи поглаживали плечи и щеки военных корреспондентов. При Эрнесте проститутки не было, и я, помнится, еще подумала, что можно написать об этом Полин, но потом решила, что, пожалуй, не стоит. У входа в тот ресторан я и вообразить не могла, что застану журналистов, ужинающих в компании женщин легкого поведения, и совсем не обрадовалась, оказавшись в их обществе; так что нетрудно догадаться, как отреагировала бы жена Эрнеста, представив себе эту картину.

Официант принес мне кусок рыбы с душком, то есть она была по-настоящему вонючей, а не в том смысле, в котором это выражение частенько употребляют, говоря о многих вещах или понятиях. В качестве гарнира у них там была какая-то малоаппетитная каша, вроде бы из нута. Я, конечно, хотела есть, но не настолько. Да и вообще, мой голод был иного рода: я жадно хотела посмотреть, что же происходит в Мадриде, но подозревала, что до самого утра не увижу ничего интересного. Скверная выпивка, такая же еда, проститутки и Хемингуэй, но какой-то не реальный, а больше похожий на миф о нем, – вот что меня окружало. Я терпела, сколько могла, но потом все-таки не выдержала, извинилась и достала из рюкзака несколько монет.

Эрнест властно отвел мою руку:

– Убери деньги, Дочурка.

Я посмотрела на него и невольно задалась вопросом: может быть, Хемингуэй-человек и Хемингуэй-миф были не так уж и далеки друг от друга, как мне представлялось в Ки-Уэсте, а на самом деле составляли единое целое?

– Спасибо, Эрнестино.

Я надела рюкзак, поцеловала его в лоб и вышла из ресторана.

Вернувшись в отель, я поднялась в номер, достала из кармана пальто заветное мыло и включила воду.

Отель «Флорида». Мадрид, Испания *Март 1937 года*

Я снова помылась холодной водой. Горячая тут шла не чаще, чем работал лифт, но отель «Флорида» был единственной гостиницей в Мадриде, где хоть иногда давали горячую воду. Причесалась. Прибралась, чтобы номер выглядел прилично – никаких сохнувших на дверной ручке трусов, хотя, признаюсь, чистая одежда мне бы очень даже не помешала.

Только я закончила прибираться, в дверь постучал Тед Аллан.

– Кто там? – спросила я так, будто гости ко мне в очередь записывались.

Когда я открыла дверь, Тед без слов обнял меня и поцеловал. Сначала его губы были сомкнуты, а потом поцелуй стал теплым и страстным. Да, этот парень определенно был из тех, кто способен завладеть твоим сердцем. Да еще вдобавок мы находились в Испании, а мне всегда нравилось знакомиться с мужчинами за границей, где я не была ужасной дочерью доктора Геллхорна и никто не мог меня осуждать, а если даже и осуждал, то плевать я на это хотела, поскольку там правила Сент-Луиса не действовали.

Мы разговаривали, целовались и снова разговаривали.

– Марти, не хочешь пойти куда-нибудь поужинать? – предложил Тед.

– Я только что была на чудесном ужине вместе с дюжиной пьяных журналистов и их проститутками, – ответила я и достала свою сумку с продуктами.

Мы открыли две банки – с зеленым горошком и с тунцом – и кормили друг друга, доставая консервы пальцами.

– Ну до чего же приятно смотреть на женщину с хорошим аппетитом, – сказал Тед.

Когда ни в банках, ни у нас на пальцах не осталось ни крошки, мы устроились на кровати, облокотившись на подушки, вытянули ноги так, что согревали друг друга бедрами, и разделили поровну плитку шоколада.

– В большинстве отелей Мадрида лучше запирать номер на ключ, – прошептал Тед.

Я поцеловала его в губы, ощутив привкус шоколада, и улыбнулась:

– Ключа нет.

Он взял мое лицо в ладони. Умом я понимала, что лучше остановиться: если не соблюдать осторожность, то можно запросто потерять голову. Но я никогда не была особенно осторожной, а, напротив, предпочитала риск.

Я поцеловала Теда и запустила палец под рубашку между пуговицами: его мускулистая грудь на ощупь оказалась не слишком волосатой.

И тут кто-то постучал в дверь.

Пока я принимала более или менее приличную позу и собиралась крикнуть, что не заперто, в номер вошел Хемингуэй. Он ввалился бесцеремонно, как будто был владельцем этого треклятого отеля в прифронтной зоне.

– Студж, ты...

Увидев две пустые консервные банки, обертку от шоколада и нас с Тедом на кровати, он перевел взгляд больших карих глаз на меня, и вид у него при этом был такой, словно его предали.

– Эрнестино...

Я прикоснулась пальцами к губам, как будто таким образом могла скрыть размазанную помаду, хотя, понятное дело, только привлекла к этому внимание, и подумала, что если Тед – мужчина, который способен запасть женщине в сердце, то Эрнест из тех, кто способен вывернуть тебя наизнанку и оставить твои потроха лежать на тротуаре. Но с другой стороны, я ведь не была возлюбленной Хемингуэя, я была его Дочуркой, его протеже, а у него имелась семья: жена и двое детей в Ки-Уэсте – и еще бывшая супруга со старшим сыном плюс разбросанные тут и

там любовницы. Я не была его возлюбленной и вовсе не стремилась ею быть. Я хотела учиться у Хемингуэя, говорить с ним о писательском мастерстве и вдохновляться, общаясь с мэтром. Хотела, чтобы он снова похвалил мое творчество и подсказал мне, как лучше подбирать слова. Разумеется, не для того, чтобы писать, как он, – подобное в принципе невозможно, – а чтобы просто научиться делать это правильно.

– Познакомься, Эрнест, это Тед Аллан, – произнесла я, поднимаясь с кровати; Тед тоже встал. – Он...

– Извини, парень, что пришел, как раз когда тебе пора уходить, – перебил меня Хемингуэй.

Тед только охнул и не нашелся что ответить. Бедняга, он был просто симпатичным, не лишенным самоуверенности парнем, и я, пожалуй, могла бы в него влюбиться, если бы он сумел дать отпор Эрнесту. Но куда этому юнцу с цыганскими глазами тягаться с таким человеком, глупо было бы винить Теда за то, что он потерялся в тени Хемингуэя.

– Увидимся позже, Тед, – сказала я.

– Хорошо. Да, конечно.

И он поспешно выскользнул из номера, как подросток, которого застукали с девочкой на заднем сиденье машины, даже дверь как следует не закрыл. А я подумала, что моя беда в том, что я не способна влюбиться, не испытывая восхищения, и, возможно, если бы дело обстояло иначе, я была бы гораздо счастливее.

Посреди той первой ночи в Мадриде я проснулась оттого, что у меня под окном словно бы завизжали тормоза поезда. Артобстрел! Горло перехватило от ужаса, и мне показалось, что наступил конец света. Вскочив с кровати с первыми разрывами снарядов, я обнаружила, что дверь в номер заперта снаружи. Сколько ни дергала за треклятую ручку – все без толку.

Слышно было, как где-то по перекрытиям между этажами метались перепуганные крысы. А внизу, в холле, перекрикивались, словно журавли в осеннем небе, горничные. Я колотила кулаками в дверь и звала на помощь, колотила и звала, колотила и звала, а снаряды с жутким свистом продолжали падать, причем все ближе и ближе к отелю. Я запаниковала и почувствовала себя круглой душой. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь застал меня в таком виде, и в то же время я мечтала, чтобы кто-нибудь пришел и помог мне выбраться из номера.

Очередной свист снарядов. Высокий и резкий. Казалось, они летят все быстрее и приземляются уже совсем рядом. Здание «Флориды» дрожало так, будто готово было в любую секунду превратиться в груды камней. И снова – грохот разрывов и мои истеричные крики. Этот ужас и не думал заканчиваться.

Каждый раз мне казалось, что сейчас снаряд уж точно влетит в мое окно. Уши заложило от разрывов падавших напротив и по диагонали снарядов: вот тебе и безопасная сторона, похоже, толку от прикрывающих отель домов немного.

Содрогались оконные рамы. Где-то дождем посыпались на камни осколки стекол. Окна в моем номере были закрыты, и все равно вокруг меня поднялась каменная пыль. Стало трудно дышать.

– Помогите! Господи, да что же это такое? Умоляю, помогите! – кричала я.

Я так колотила в дверь, что чуть не сломала пальцы рук.

Наконец на минуту воцарилась тишина, а потом послышались чьи-то возбужденные голоса.

– Эй! – закричала я. – Кто-нибудь! Слышите? Меня заперли!

– Спокойно, – произнес с той стороны какой-то совершенно незнакомый мужчина. – Сейчас принесу ключ.

Я стояла, уставившись на дверь. Висевшая там маленькая табличка заверяла постояльцев, что в случае необходимости им моментально погладят одежду, и предупреждала, что за

доставку еды в номер взимается десять процентов от заказа. От долбежки по двери у меня покраснели кулаки, а табличка, ясное дело, ударов не смягчила.

Я нашла сигарету и закурила, несмотря на то что в номере было не продохнуть от поднимающейся пыли. Спустя еще пару минут я с облегчением услышала, как за дверью звякают ключи.

Кашляя и повторяя «спасибо», я вышла в коридор, добрела до лестницы и, цепляясь за перила, спустилась в холл, где уже толпились постояльцы.

– Весьма сожалею, все это очень досадно, – говорил консьерж в пыльной униформе таким тоном, словно сожалел о том, что на платье плохо отгладили воротничок. – Прискорбно, конечно, что они нарушили расписание, но смею вас уверить – на прошлой неделе все было намного печальнее.

– Какое еще расписание? – не поняла я.

– Артобстрел перед завтраком, до и после обеда и ужина. Обычно на этом все и заканчивается.

Мы собрались в холле, пыль после артобстрела уже осела на плетеной мебели. Значит, опасность миновала? В дверных проемах домов на площади стояли люди, они были готовы выйти из укрытия, но все еще не решались.

– Как ни крути, больше одного раза не умрем, – изрек консьерж и, переключив свое внимание на возбужденно тараторящих горничных, быстро подошел к лестнице и стал подниматься по ней.

Я кинулась за ним. Дверь одного из номеров была распахнута. В стене гостиной зияла дыра, а мебель превратилась в дрова для растопки. Искореженный металлический каркас кровати стоял вертикально, напоминая уродливый объект современного искусства.

Постоялец жаловался, что угодивший в ванную комнату осколок снаряда уничтожил все его туалетные принадлежности. Конечно, при других обстоятельствах можно было бы посмеяться над тем, как трагически он переживал потерю зубной щетки и бритвы, но я-то понимала, насколько эти вещи были ему дороги. Я чуть не рванула в свой номер проверить, уцелело ли мое мыло, которое я, поддавшись панике, оставила в ванной.

Хемингуэя я нашла в холле, где он, пьяный и чумазый, курил и играл в покер.

– Представляешь, – сказала я, – меня заперли в номере, и я не могла выйти.

Он перевел взгляд с карт на меня. Кто-то присвистнул, и только в этот момент я поняла, что выбежала в коридор в одной ночной сорочке. Я обхватила себя руками за плечи, но глаз не отвела. Выражение лица Эрнеста было почти таким же, как в тот момент, когда он ввалился в мой номер и застал меня на кровати вместе с Тедом Алланом. Разве что сейчас к этому еще добавилась капелька смущения.

– Дочурка, в этом отеле полно пьянчуг и сводников. Я не хотел, чтобы тебя побеспокоил кто-то из этих типов. Или принял за шлюху.

Это слово покорило меня, как отцовская фраза о том, что я капитализирую свои золотистые волосы. Но Эрнест просчитался: не на такую напал, я ему не Тед Аллан (он же Алан Херман). Я не собиралась тушеваться и теряться в тени Хемингуэя. Да как он только мог вообразить подобное!

– Принял меня за шлюху? – как можно непринужденнее переспросила я. – Эрнестино, да ты спятил! Где твои глаза? Меня – с моим-то скромным макияжем – даже с продавщицей сигарет не спутаешь.

Отель «Флорида». Мадрид, Испания

Март 1937 года

На следующее утро умопомрачительный запах яичницы с ветчиной привел меня в номер Эрнеста, где собралась все та же компания игроков в покер. Херб Мэттьюс из «Нью-Йорк таймс» пришел одновременно со мной. Он явился в крестьянских штанах, которые подчеркивали его длинные ноги, и в эспадрильях на поразительно тощих босых ступнях. Широкий подбородок, глубоко посаженные глаза. Он настороженно посмотрел на меня из-под очков в роговой оправе и буквально засыпал вопросами.

– Хорошо ли я спала? – повторила я, а сама представила его в рубашке с белым крахмальным воротничком в каком-нибудь офисе. – Вы это всерьез спрашиваете?

– Ах, ну да, – сказал он. – Видимо, мне следовало сформулировать иначе: поинтересоваться, не из тех ли вы молоденьких женщин, которые после такой увлекательной ночи, как сегодня, бросаются собирать чемодан. Или вы восприняли старый добрый артобстрел как радушный прием?

– У меня нет чемодана. Я приехала с брезентовой сумкой, в которую положила только консервы и смену одежды.

А также брусок мыла, но я не стала это афишировать.

Херб доброжелательно рассмеялся:

– Значит, только брезентовая сумка с консервами? Ладно, давай на «ты», и будем друзьями.

Он передал Сидни банку консервированных сосисок, а тот недобро глянул на меня и поставил банку в шкаф, который уже был забит ветчиной, кофе и мармеладом.

– Этот малый у Хемингуэя и за секретаря, и за повара, – шепнул Херб, а Сидни тем временем вернулся к установленной на кухонном буфете газовой горелке. – Он перепечатывает его тексты, готовит, ну и спит здесь, как верный пес. Эрнест привлекает любого, а вот старина Сид не жалует тех, кто заявляется с пустыми руками. Поэтому он так на тебя и зыркнул.

Хемингуэй все в тех же грязных штанах и рваной рубашке, что и накануне, сидел на небольшом диванчике с молодой шведкой, одетой на мужской манер – это мне, кстати, понравилось, – и рассказывал ей о положении дел в Гвадалахаре. Он подвинулся, чтобы я могла устроиться рядом, и представил меня всей честной компании. Среди прочих там были и два литератора: немец с мужественным подбородком, который оказался романистом Густавом Реглером, сражавшимся в рядах интербригад, и генерал Лукач, более известный как венгерский писатель Мате Залка.

– Надо же, – удивилась я, – похоже, здесь можно прославиться под чужим именем.

Хотя в Испании все мы пытались стать другими.

Горничная принесла мне завтрак.

– Сегодня я первым делом должен отвезти Студж в «Телефонику», – сказал Эрнест.

– Марти, «Телефоника» – это, можно сказать, штаб-квартира республиканцев в Мадриде, – объяснил мне Херб Мэттьюс. – Там можно выбить для себя вот такие просторные апартаменты. Или, если повезет, талоны на бензин.

– И еще пропуска, – добавил Хемингуэй.

– Которые, если уж на то пошло, не гарантируют ни свободного передвижения по городу, ни безопасности.

Я быстро проглотила завтрак, и Эрнест повел меня к выходу из номера, только на секунду остановился, чтобы сказать Франклину, что мы идем в правительственный офис за моими бумагами.

– Сидни, а можно мне взять баночку мармелада, чтобы не вставать к завтраку? – поинтересовалась я.

– Не стоит, Студж, – рассмеялся Эрнест. – Перед стариной Сидни лучше красным плащом не размахивать. Он всегда побеждает быков.

– Ты сейчас назвал меня быком, Эрни?

– Ты упертая, как бык. Все, что ниже головы, у тебя просто прекрасно, а вот с головой – да, непорядок, как у быка.

Атмосфера в «Телефонике» чем-то напоминала атмосферу в номере Хемингуэя. Туда-сюда сновали журналисты: одни вымаливали талоны на бензин, другие забирали свою почту, третьи делились слухами. Эрнест познакомил меня с худющим мужчиной с прилизанными темными волосами, черными бегающими глазами и просто неправдоподобно чувственным ртом. Этот человек отвечал за всю зарубежную прессу, без его одобрения ни один журналист не мог отослать из Мадрида свой материал.

– А это Ильзе Кульчар. – Эрнест представил мне женщину. – Она несколько лет назад уехала из Австрии по поддельным документам. Ильзе говорит на восьми языках и твердой рукой указывает этому парню, что следует отправлять в печать, а что – нет. И плевать, что он ее босс.

А еще, как потом выяснилось, Ильзе спала со своим боссом, благо его жены, как и ее мужа, в Испании не было.

– Думаю, вы, две занозы, отлично поладите, – сказал, обращаясь к нам обеим, Хемингуэй и приобнял меня за плечо. – Ильзе, это Марти Геллхорн. Прошу любить и жаловать. Она пишет для «Кольерс», а у них миллионы читателей.

Это было такой же правдой, как все написанные им истории.

Через несколько минут мне вручили мои бумаги.

Мы с Эрнестом и Хербом вышли из отеля в компании с Сефтоном Делмером, которого между собой в шутку называли «наш румяный английский епископ». Этот крупный лысеющий британец носил круглые очки в черной оправе, именно в таких и еще с накладной бородой я в шутку планировала нелегально пересечь границу Испании.

– У Делмера в номере целый шкаф вина – якобы комплимент от короля Испании, – просветил меня Эрнест. – Но я подозреваю, что на самом деле он не грабил королевские погреба, а скорее всего, купил спиртное у какого-нибудь своего знакомого бармена-анархиста. Этот парень выпивку где угодно раздобудет.

А еще Делмер был отличным репортером. Его фото однажды даже напечатали на обложке журнала «Тайм».

Хемингуэй открыл для меня дверцу машины с двумя флагами, американским и британским, и достал из внутреннего кармана пальто холщовую охотничью кепку. Пуговицы у него на груди грозили отлететь в любую секунду: со времени отъезда из Нью-Йорка он слегка располнел, а может, его просто распирало от гордости или же и то и другое. Я устроилась на пассажирском месте, а Херб с Делмером забрались на заднее сиденье. Эрнест сел за руль, и мы поехали.

Журналисты в Мадриде в основном передвигались на своих двоих или же доезжали на трамвае до университета на севере города, а дальше шли пешком. Не многим выпадала удача прокатиться на машине Эрнеста с полным баком бензина. Я обмотала вокруг головы и шеи зеленый шифоновый шарф и смотрела в окно. Мы ехали по центральным улицам, мимо мальчишек, чистивших обувь, мимо длинных очередей, которые были повсюду. Потом по разбитым дорогам мимо баррикад. В центре ремонтные бригады укладывали асфальт на поврежденные участки дороги, но сюда уже не добирались. Буквально за несколько минут мы домчались до

Каса-де-Кампо, парка на юго-западе Мадрида. Невдалеке я увидела мужчин в широких брюках и белых рубашках, они стояли за каменными стенами и баррикадами из мешков с песком и целились из винтовок в сторону противника. А за стеной на деревьях только-только начали появляться крохотные зеленые почки. Я сделала глубокий вдох, и мне стало жутковато. В воздухе пахло порохом от разрывающихся снарядов, где-то вдалеке стрекотали пулеметы.

Херб с Делмером пошли на передовую к солдатам, а Эрнест остался со мной, чтобы помочь сориентироваться в ситуации.

– Студж, первое, чему ты должна научиться, – это как найти безопасное укрытие.

Он прочитал мне краткую, но очень полезную лекцию о том, что делать, если стрелять начнут совсем рядом. А потом принялся объяснять стратегию обороны республиканцев, рассказал, как долго и почему длится эта патовая ситуация.

Мы прошли чуть вперед, но не очень близко к переднему краю. Здесь солдаты ели и отдыхали, кто-то даже читал, как будто всего в нескольких метрах от них и не было никакой стрельбы.

– Когда пытаются описать стрельбу, обычно используют слова «хлопки» или «трескотня», – сказал Эрнест. – Но это не совсем так, сечешь? Это не один звук. Пулемет звучит иначе, чем винтовка. «Ронг-каронг-ронг-ронг» – вот как говорит пулемет.

– Больше похоже на церковный колокол, – заметила я.

Мне хотелось рассмеяться, но тогда, впервые оказавшись на передовой, я еще не могла расслабиться до такой степени. Это умение пришло позже. Смех – единственный способ показать, как ты рад, что жив, когда уже повидал немало смертей.

– А как говорят винтовки? – спросила я.

– «Ракронг-каронг-каронг».

– Ну, не знаю, Несто. Это как-то чересчур романтично. Такие округлые звуки. Слишком уж мелодично. Звук стрельбы должен быть brutalнее.

– «Ракронг-каронг-каронг», – повторил Эрнест. – Это реальный звук. Ну да, округлый и мелодичный. – И он с удовлетворенным видом сделал запись в своем блокноте.

А я, стоя практически на линии фронта, наблюдала за Хемингуэем, слушала его рассуждения и пыталась представить, как мои братья, окопавшись вокруг Сент-Луиса, стреляют через поле в таких же, как они, парней из Иллинойса. Я не владела испанским, а потому понятия не имела, что в наступившем затишье кричали друг другу солдаты с противоположных сторон, но именно такими они мне тогда и казались: обычные ребята, которые любят копаться в моторах своих машин, курить и целоваться с девочками.

Я прикурила и сразу заметила на себе голодные взгляды солдат. Естественно, я открыла пачку и раздала все сигареты до единой. Я понимала, что потом пожалею о своей щедрости, но тогда жалела только о том, что взяла с собой всего одну пачку. Мне хотелось запомнить абсолютно все, каждую морщинку на лице каждого солдата и то, как их пальцы на секунду прикасались к моим. Я старалась настроить свой мозг таким образом, чтобы он в точности запечатлел интонацию, с которой бойцы произносили «gracias»⁶, как они наклоняли головы и сутулились, прикрывая пламя спички, пока прикуривали, как втягивали щеки на первой затяжке и выдыхали дым через нос или через рот, как выпускали дым кольцами и эти кольца постепенно таяли в воздухе.

А когда в пачке уже совсем ничего не осталось, солдаты все равно не спускали с меня глаз. Тогда я отдала свою наполовину выкуренную сигарету высокому симпатичному парню с глубоко посаженными, как у моего отца, глазами:

– На, возьми.

⁶ Спасибо (исп.).

Приятели этого солдата стали подталкивать его локтями. Они что-то тараторили и смеялись.

– Si le gusta su pelo, espere a ver sus piernas⁷, – сказал им Хемингуэй и тоже рассмеялся.

Уже потом, когда солнце клонилось к закату и стрельба постепенно стихла, я спросила его, что же их всех так развеселило.

Эрнест открыл мне дверцу машины и по-отечески поцеловал в лоб:

– Дочурка, боюсь, каждое твое появление в обществе этих засранцев грозит скандалом. Они не слишком часто видят девиц с золотистыми волосами и такими длинными ногами. Тут война, ты же понимаешь.

⁷ Вам нравятся ее волосы, но подождите, вы еще не видели ее ноги (*исп.*).

Отель «Флорида». Мадрид, Испания

Апрель 1937 года

Джозефина Хербст приехала в Мадрид через пару дней после меня. Когда она, с присыпанными пылью после артобстрелов кудрями, вошла в холл отеля «Флорида», то даже не успела поставить на пол огромный чемодан и портативную пишущую машинку: ее заметил и мигом сграбастал в объятия Хемингуэй. В то утро он наконец-то выкроил время, чтобы переодеться, и в шикарной униформе выглядел настоящим франтом.

– Джози, а помнишь, как мы рыбачили? В жизни тебя не прощу за то, что ты тогда упустила ту огромнейшую макрель!

– И вот я здесь, в зоне боевых действий, а мне в глаза смотрит все та же старая рыбина, – ответила Джози.

Она говорила в нос, как все в Айове, и годы, проведенные в Калифорнии, Берлине и Париже, никак на это не повлияли.

Они с Эрнестом дружили еще с тех пор, когда вместе работали в журнале «Смарт сет», причем Генри Луис Менкен охотно публиковал ее рассказы, а Хемингуэю отказывал. В Испанию в те благословенные времена ездили, чтобы поестъ *pispergo*⁸ и посмотреть корриду.

Они оживленно болтали, старинным друзьям всегда есть что вспомнить. А потом Джозефина сказала:

– Макс, – она имела в виду Макса Перкинса, редактора из издательства «Скрибнер», – просто диву дается. Он меня спросил: «Да что это на вас на всех такое нашло? Хемингуэй, Дос Пассос, Геллхорн. – Она кивнула в мою сторону, хотя мы никогда прежде не встречались, – все как идиоты сорвались в Испанию, чтобы подставить свои головы под бомбы». – Джози стряхнула пыль с волос и продолжила: – Я думала, что артобстрелы гораздо страшнее. По мне, так они напоминают грозу в старой доброй Айове, ты не находишь?

– Джози написала для «Нью-Йорк пост» серию отличных репортажей о нацистской Германии, – сказал Эрнест.

– Знаю, – кивнула я. – «Что скрывается за свастикой». Вы рассказали страшную правду об этой свинье Гитлере, жаль, что к вам не прислушались.

В начале двадцатых годов Джозефина работала журналисткой в Берлине, но потом вышла замуж за Джона Херманна и некоторое время жила в США. Когда супруг оставил ее, она снова вернулась в Европу. Мне нравилось то, как она упорно писала нелицеприятную правду о Гитлере, когда ее никто не желал слышать. Нравилось, что после расставания с мужем она выбрала работу. Но Джозефина Хербст даже в нашу первую встречу смотрела на меня неодобрительно, и той весной казалось, что так будет всегда. Утром, когда я еще нежилась в постели и даже не вспоминала о мармеладе, настолько было рано, Джози, наплевав на мольбы Эрнеста прийти к нему и отведать чудесного омлета, который Сидни приготовил специально для дорогой гостьи, устраивалась в холле с чашкой чая и куском черствого хлеба, чтобы побеседовать с солдатами, находящимися в увольнении. Джози всегда поступала правильно. Ну прямо как Дос Пассос, который порой мог быть невыносимо добродетельным, если только не устраивал истерики из-за исчезновения своего друга Хосе Роблеса. Роблес был левым активистом и в данный момент, предположительно, ожидал суда, но судить его должны были не фашисты, а законно избранное правительство Испании. Джози не могла ради кусочка мармелада отказаться от встречи с солдатами, ведь эти ребята, как она говорила, могли погибнуть еще до заката. Она всегда пренебрежительно произносила «ради мармелада», осуждая мои уединенные завтраки даже

⁸ Мушмула (исп.).

больше, чем утренние приемы Эрнеста. Я пока еще не писала, потому что не чувствовала, что погрузилась в атмосферу военной Испании достаточно глубоко, чтобы написать правду. Я слишком мало знала, чтобы подобрать нужные слова. А Джози не одобряла журналистов, которые, находясь в зоне боевых действий, не могли регулярно, к девяти часам вечера, выдавать материал на тысячу слов.

Пусть Джози мне и не благоволила, но зато у меня установились приятельские отношения с Ильзе Кульчар, которая, как и говорил Эрнест, контролировала из своего офиса в «Телефонике» всю журналистскую братию. Ильзе выделила мне в помощь переводчицу – ту самую молодую шведку, которая в мое первое утро в Мадриде сидела вместе с Эрнестом на диванчике в его номере. Высокая и рыжеволосая, она была из тех женщин, рядом с которыми любая красотка, вырядившаяся в модное шелковое платье, почувствовала бы себя заурядной и скучной: еще бы, ведь эта девица в мужских брюках знала семь языков и прекрасно ориентировалась в Мадриде. В общем, я ее обожала.

Следующим, кого я могла бы назвать своим новым другом, стал Рандольфо Паччарди, лихой широкоплечий итальянец с орлиным носом и магнетическим взглядом. На родине его приговорили к пяти годам тюремного заключения за организацию антифашистского движения, но он сбежал: сначала в Австрию, оттуда в Швейцарию, потом во Францию, а уже из Франции приехал в Испанию, чтобы продолжить здесь борьбу с фашизмом. Рандольфо возглавлял итальянский легион интернациональных бригад, который назывался Гарибальдийский батальон. Впервые мы встретились на какой-то вечеринке. Паччарди вовсю флиртовал со мной, а у меня хватило ума, даже не зная, кто он, кокетничать в ответ. Все просто: я могла написать о его бойцах, а он мог дать мне пропуск в зону боевых действий. А еще с ним было чертовски весело! Так бывает только с очень интересным и умным мужчиной, с которым у тебя при любом раскладе нет будущего. Рандольфо любил катать меня на мотоцикле по тихим участкам «своего мадридского фронта». А я делилась сигаретами и черствым хлебом с его солдатами и флиртовала с ними еще похлеще, чем с ним самим. Но Рандольфо брал меня с собой, только когда на передовой наступало затишье.

Настоящий бой я увидела благодаря своей красотке-переводчице из Швеции. Она познакомила меня с парнем из бригады по переливанию крови, к которому в тот первый вечер отправился Тед Аллан (он же Алан Херман). Этот парень, в свою очередь, свел меня с английским биологом, который был в курсе, что республиканцы намерены захватить холм Гарабитас. Эрнест собирался наблюдать за этой боевой операцией вместе с Йорисом Ивенсом. Он был на взводе перед этой первой настоящей атакой, но меня с собой не взял, поэтому, когда британец пригласил меня понаблюдать за штурмом из дома на окраине Каса-де-Кампо, я, не раздумывая, согласилась.

Вид из того дома открывался отличный, а благодаря полевому биноклю все было видно как на ладони. Танки мчались по полю, солдаты бежали, падали на землю, когда по ним открывали огонь, вставали и снова бежали вперед. Палили пушки, подавали голос пулеметы – ронг-каронг-ронг-ронг. У меня не было сил смотреть на весь этот ужас, но в то же время не было и сил отвернуться. «Если у этих парней хватает мужества сражаться, то и у меня должно хватить мужества собраться с духом и все это запомнить», – думала я и мечтала, что когда-нибудь найду слова, которые заставят других понять то, что мне самой понять не по зубам. Почему эти молодые ребята готовы бежать в атаку и рисковать жизнью ради того, чтобы защитить некое смутное право на самоуправление? Вернее даже, только ради права выбирать того, кто будет ими управлять.

Хемингуэй, вернувшись в тот вечер, сокрушался, что был слишком далеко от места боя, но признался, что испытал радостное возбуждение, нечто сродни опьянению. Тут я не могла с ним не согласиться: это действительно было такое чувство, которое хочется пережить снова.

Вирджиния Коулз, которая впоследствии стала моей самой близкой подругой, присоединилась к нам несколько дней спустя. Просто прошла в золотых украшениях и на шпильках по разбитым улицам Мадрида, как Коко Шанель по Елисейским Полям, – и всё. Джинни сделала себе имя, когда взяла интервью у Муссолини, сразу после того, как он аннексировал Эфиопию. Тогда каждый журналист мечтал о таком шансе.

– Просто я была в Риме, и у меня появилась возможность улыбнуться министру прессы и пропаганды, – объясняла Джинни.

Эта шикарная американка могла проникнуть куда угодно. В качестве инструментов для достижения цели у нее имелись хорошо подвешенный язык, чарующий голос, длинные ресницы, прехорошенькое личико и густые гладкие каштановые волосы. Мой отец наверняка сказал бы, что она капитализирует свои внешние данные. Пусть так, ну и что тут особенного? Каждый из нас в те дни использовал все свои ресурсы, чтобы получить информацию, которую считал важным сообщить миру.

Я почти каждый день отправлялась в прифронтовую зону: или пешком в компании Джинни – это было сродни быстрой прогулке под дождем, – или вместе с переводчицей на трамвае, или с Эрнестом на его машине. Мадрид был с трех сторон окружен фашистами, так что фронт тут, считай, был повсюду.

Подойдя к баррикаде из камней, я предъявляла документы республиканцу в свитере и вельветовых брюках, а он пропускал меня дальше, туда, где я могла месить грязь в траншеях и зарабатывать, благодаря постоянным приседаниям, судороги в лодыжках. Там всегда можно было встретить ребят, с которыми интересно поговорить и о которых можно написать. Но я до сих пор еще не написала ни строчки.

Иногда мы посещали импровизированный госпиталь в отеле «Риц», где носилки таскали вверх-вниз по парадной лестнице, а кровь переливали при свете канделябров, или еще один, временно расположенный в отеле «Палас»: там шприцы и бинты хранились в роскошных шкафах в стиле ампир, а на стойке консьержа все еще красовалась табличка, сообщавшая, что *coiffeur*⁹ работает на первом этаже. Я смотрела на медсестер и думала: интересно, они обесцвечивают волосы и красят глаза, чтобы порадовать умирающих или же просто по привычке, потому что и до войны всегда так делали? Эрнест не любил бывать в госпиталях, поэтому мы с Джинни вдвоем навещали солдат, которые дружно заверяли нас, что ранения у них пустяковые, что они скоро поправятся и научатся ходить на протезах и будут отлично видеть одним глазом. А некоторые вообще ничего не говорили, потому что у них не было губ, так страшно они обгорели в сбитом самолете, или после взрыва снаряда, или во время пожара. Помню, однажды раненые попросили нас навестить парня в пятьсот седьмом номере. Вся его палата была заставлена букетами цветущей мимозы – что может быть прекраснее? Мы радостно смеялись, оказавшись в этом ярко-желтом великолепии, и вдыхали аромат букетов, чей запах, на мой взгляд, больше напоминал акацию. Это был запах мыла, которое было сварено в родном для того паренька Марселе и которое я повсюду возила с собой.

После посещения госпиталя мы с Джинни часто ходили по магазинам. Так мы пытались забыть о мраморных ступенях, заляпанных пятнами крови, о невероятной боли и невероятном мужестве. Я заказывала туфли у сапожника, приценивалась к мехам, которые никогда бы не смогла купить, но от войны все равно было не спрятаться.

Однажды во время обстрела на пороге магазина погибли четыре женщины. Трое мужчин сидели в кафе на тех же самых стульях, на которых накануне утром трое других посетителей читали газеты и пили кофе, пока шрапнель не оборвала их жизни. Старушка с перепуганным мальчиком спешили поскорее попасть домой, где была хоть какая-то иллюзия безопасности, но рядом с ними разорвался снаряд, и раскаленный осколок вонзился в шею ребенка. Подобное

⁹ Парикмахер (фр.).

случалось постоянно и могло случиться с кем угодно, в любое время и в любом месте, а пока этого не произошло, мы старались жить на полную катушку. Покупатели прислушивались к совету хозяина магазина пересечь подальше от витрины, но продолжали примерять сандалии так, будто лето для них непременно наступит.

Вечерами мы с Джинни, освещая разбитую дорогу фонариком, ходили в бар «Чикоте», где понемногу выпивали с Эрнестом и Йорисом Ивенсом, с Хербом, Делмером и Джози и со всеми теми, кому весной 1937 года была безразлична судьба Мадрида. «Могут ли наши пишущие машинки дать хоть какой-то отпор пулеметам? – спрашивали мы друг друга. – Есть ли толк от наших слов?» В этих разговорах сквозили одновременно страх и кураж. Просто непередаваемое чувство: ты сосредоточиваешься, слушаешь, наблюдаешь и при этом живешь необычайно яркой и насыщенной жизнью. Джози любила повторять, что на самом деле человек стремится вовсе не к безопасности, а к неизведанному. Уж не знаю, была ли эта ее формула универсальной или же подходила только к определенному типу людей, которые в разгар войны пили в каком-нибудь мадридском баре и были счастливы, когда кто-нибудь составлял им компанию.

Обычно по вечерам Хемингуэй хвастался в «Чикоте» как заведенный. Благодаря связям Йориса Ивенса он действительно имел доступ туда, куда другие не могли попасть, но то, как Эрнест об этом рассказывал...

«Я прошелся с генералом по полю боя и предложил ему более удачную стратегию...»

«Пацан целился неумело, как мальчик, который только-только научился обходиться без подгузников, так что я взял у него винтовку и показал, как надо стрелять по фашистам...»

Послушать Хемингуэя, так никто не знал о войне больше его. У него имелись самые лучшие карты и оружие, продукты и выпивка. В общем, всем до него было очень и очень далеко. А когда у Эрнеста заканчивались истории о собственном героизме, он брал в руки гитару и пел: громко, однако не слишком хорошо.

Как-то в один из таких вечеров я обратилась к Джозефине, но так, чтобы меня услышал Хемингуэй:

– Джози, а вы не думаете, что наш Скруби мог бы навестить раненых ребят в госпитале? – Я выдумала это прозвище, сократив и смягчив слово «screwball» («хреноплет»); насчет посещения госпиталя я действительно так считала, но в то же время мне хотелось завоевать расположение Джозефины. – Вам не кажется, что, если бы Эрнест написал о раненых бойцах, это было бы лучшей иллюстрацией того, что здесь происходит?

Хемингуэй рассмеялся, но не надо мной, хотя в тот момент мне именно так и показалось.

– Ему в этой статье будет негде развернуться. Он же не делает сам переливание крови и не ампутирует конечности, – парировала Джози.

Эрнест снова рассмеялся и принялся громко рассказывать о том, какой материал они отсняли сегодня для фильма «Испанская земля», как будто опасался, что кто-то мог забыть о том, почему он со своей командой каждое утро отъезжает от отеля на двух машинах, тогда как большинство корреспондентов ждут трамвая или идут пешком.

Разговор, как это часто бывало в те дни, переключился на статистику, в которую так удобно упаковывать войну: сколько снарядов упало на город, какое количество солдат участвовало в боях и все в таком роде.

Джози придвинулась ближе ко мне и пояснила:

– Эрнест не мастер возвращаться туда, где ему причинили боль.

Я ждала. Когда молчишь, всегда найдется тот, кто заговорит вместо тебя.

Эрнест взял в руки гитару и завел испанскую песню.

– Скруби, – сказала я, – ты знаешь, как я люблю, когда ты поешь, но сейчас лучше помолчи, а то ты своим пением всех шлюх до экстаза доведешь.

А сама подумала, как это трогательно: за напускной бравадой Эрнест прятал страх, который испытывали мы все, ведь только идиоту тогда не было страшно. Хемингуэй был тяжело ранен на Первой мировой, и врачи так и не смогли извлечь всю шрапнель из его ноги. Однако он тем не менее приехал сюда, и это характеризовало его как нельзя лучше.

– Скруби, – заявила я, – эта гитара звучит похуже пулемета и винтовки, вместе взятых.

– Дочурка, это лучшая из когда-либо написанных песен.

– Вполне возможно, Скруби, но после такой дозы алкоголя исполнение явно хромает.

Эрнест преспокойно продолжил петь дальше.

– Та девица в Милане – забыла, как ее звали, – глубоко ранила Эрнеста, – шепотом поведала мне Джози. – Но для нас, я имею в виду для его читателей, это, можно сказать, стало настоящим подарком. Он очень ее любил.

И Джозефина рассказала мне, что Хемингуэй превратил ту свою боль в сюжет романа «Прощай, оружие!», в историю любви медсестры Кэтрин и американского парня, который, как и он сам, во время Первой мировой был водителем санитарного транспорта на итальянском фронте.

– Значит, он не на шутку влюбился в медсестру? – переспросила я.

Я знала, что Эрнест, возвращаясь с передовой, куда возил солдатам сигареты и шоколад, был ранен и потом провел немало времени в миланском госпитале.

– Ну да, а она с ним играла, он и сам это признавал. А что может быть больше, чем влюбиться и оказаться обманутым в девятнадцать лет?

Эрнест допел песню и принялся распевать следующую, предварительно объявив, что посвящает ее мне: наверняка речь там шла о женщине, недостойной своего мужчины.

– Хемингуэй ведь всерьез хотел жениться на той медсестре, – продолжала Джози. – Он был тогда еще совсем мальчишкой, а ей уже исполнилось двадцать шесть. О, вспомнила: Агнес, вот как ее звали.

Собеседница грустно смотрела на меня, а я гадала, чем вызвана эта грусть: тем, что ее оставил муж, хотя они жили в свободном браке и Джозефина терпимо относилась к тому, что Джон спал с другими женщинами, или же все дело в том, что когда-то давно Хемингуэй разбил ей сердце.

– Представляешь, эта Агнес прислала ему письмо. Написала, что выходит замуж за другого и что, конечно, ей следовало бы сообщить об этом при личной встрече, но споры с Эрнестом ее изматывают, да и вообще, она боится, что он от отчаяния совершит какую-нибудь глупость.

Мадрид, Испания

Апрель 1937 года

Когда мы со съемочной группой «Испанской земли» ехали к фронту в районе Гвадалахары, Эрнест пребывал в дурном расположении духа. Причиной тому могла быть холодная ночь, то есть настолько холодная, что мне даже бутылка с горячей водой в ногах не помогла, или начавшаяся на рассвете воздушная тревога. У меня под окном полночи горланил песни какой-то изрядно подвыпивший тип, иногда под музыку, которую изрыгали установленные в Каса-де-Кампо репродукторы. Посмотрев утром в окно, я увидела лежащего на развороченном асфальте человека без головы, его тело окутывали клубы горячего пара из пробитого газопровода. Внизу двое мужчин в синих комбинезонах помогали раненой женщине зайти в холл отеля. Она шла, крепко схватившись за живот, но сквозь пальцы все равно просачивалась кровь.

Однако день, бывало, начинался и похуже, но Хемингуэй все равно оставался бодр и весел. Я подозревала, что сегодня настроение у него испортилось из-за телеграммы, полученной от Североамериканского газетного альянса. Эрнест читал, удерживая ее над яичницей, и я успела мельком взглянуть на текст.

Мы взяли продуктов на несколько дней на случай, если попадем в какую-нибудь серьезную переделку. Ехали на двух машинах: в одной мы с Эрнестом, а во второй Йорис Ивенс и съемочная группа. Пригревало солнце, дорога петляла по опасным ущельям, мимо гор из белого камня, откуда по нам в любой момент могли открыть стрельбу. Хемингуэй разговаривал с солдатами, которые встречались нам на пути, угощал их сигаретами, говорил им, какие они смелые парни и вообще молодцы, просил показать, как они пользуются своим оружием. Он совсем не думал о собственном комфорте и в случае необходимости запросто мог улечься прямо в грязь. А когда бойцы проявляли сдержанность и даже не хотели говорить в моем присутствии о войне, Эрнест отвечал: «Марти – самая отважная женщина из всех, кого я встречал в своей жизни. Правда, она пока еще не прошла крещение огнем, но готова к этому и, можете мне поверить, ни в чем не уступит нам с вами».

В сельской местности между Мадридом и линией фронта в районе Гвадалахары было так тихо, что мы решили перекусить, расстелив одеяло на берегу ручья, пока Йорис Ивенс и его команда подыскивали удачное место для съемок. Мы ели хлеб с ветчиной и пили вино из складного стакана, с которым Эрнест, похоже, никогда не расставался. Он продолжал обучать меня разным премудростям войны: подсказывал с одеяла, чтобы показать, как и что надо делать, и уверял, что знакомство с военной тактикой значительно повышает шансы на выживание.

– Твоя задача не только добыть хорошую историю, но и остаться в живых, чтобы рассказать ее людям. Первое без второго не имеет смысла.

Мы лежали на одеяле и смотрели на небо.

– Ты должна писать, Дочурка. Только так мы можем послужить общему делу.

– Но, Скруби, мне нужен настоящий материал. Что такого особенного случилось со мной? Да ничего. Я и пороха-то до сих пор не нюхала.

– Ты еще не знаешь войны, но уже знаешь Мадрид.

– Вряд ли повседневную жизнь можно считать подходящей темой.

– Дочурка, повседневная жизнь в Мадриде отличается от таковой в Сент-Луисе.

Но даже если жизнь в испанской столице и стоила того, чтобы о ней читать, то, похоже, сам Хемингуэй уже написал о ней все, что только могли напечатать. У меня хватило ума промолчать о том, что я заглянула в ту утреннюю телеграмму на его имя. А говорилось там следующее:

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИСЫЛАТЬ МАКСИМУМ ОДНУ ИСТОРИЮ В
НЕДЕЛЮ. ТОЛЬКО СТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ.**

Эрнест буквально заваливал их статьями о политике и военных действиях по пятьсот долларов за штуку, а в Североамериканском газетном альянсе хотели, чтобы война затрагивала струны в сердцах читателей.

– Думаю, я смогу сделать материал о раненых бойцах, – сказала я и перевернулась на бок, чтобы увидеть его лицо.

Мне хотелось поддержать Хемингуэя, ведь сам он всегда делился со мной душевным теплом. Когда-то он совсем еще юнцом был ранен и лежал в госпитале. Эрнест мог бы заставить читателя прочувствовать эту историю. Он был очень похож на Бертрана. Шарм и успех укрывали его, как толстая корка, и никто не хотел присмотреться к нему внимательнее, никто не видел в этой корке тонких трещин, через которые просачивалось настоящее. Представляю, как повлияла на него несчастная любовь к той медсестре.

– Главное – написать что-то стоящее, такое, что в Штатах не смогут и не захотят забраковать, – продолжала я, как будто просто размышляла вслух. – Но беда в том, что я не умею писать на кэйблс.

Кэйблс – это сухой язык каблограмм: если слово не было критически важным, его изымали ради того, чтобы уменьшить стоимость сообщения и повысить скорость передачи материала.

– Я даже не представляю, Скруби, как сохранить дух повествования, если статью до такой степени сокращают. Ведь именно слова берут читателей за душу. Важна не только сама история, но и то, как ты ее рассказываешь.

Я словно бы делилась своим писательским опытом. Попробуй я только прямо сказать Эрнесту, что его истории, переведенные на кэйблс, переставали быть гениальными, я бы такое в ответ услышала, мало бы не показалось. Нет, он сам должен был прийти к подобному выводу, а я могла только ненавязчиво подтолкнуть его в нужном направлении.

– Тогда, черт побери, пошли всю историю письмом, и ни одного слова не потеряешь! – Он протянул ко мне руку, убрал выбившуюся прядь волос за ухо и заключил: – Напиши свою историю, Дочурка, но с каблограммами не связывайся, а лучше отправь ее письмом.

Ну что ж, надеюсь, мои усилия увенчались успехом и Хемингуэй услышал меня.

Поднялся ветер, и я поежилась.

– Замерзла, Дочурка? – Эрнест притянул меня к себе. – Давай я тебя согрею.

Я положила голову ему на плечо и почувствовала тепло его тела. Это произошло среди бела дня. То есть ничего такого не произошло, просто два товарища старались поддержать друг друга. Да и Полин, если бы прочитала ту злосчастную телеграмму, из-за которой Эрнест так расстроился, наверняка бы не захотела, чтобы он прошел через это в одиночку.

Мы свернули одеяло и поехали дальше. В прифронтовой полосе было так тихо, что мы и там вполне могли бы устроить пикник. Поскольку снимать оказалось абсолютно нечего, мы сели в машины и вернулись на ночь обратно в отель.

На следующее утро мы с Эрнестом вдвоем отправились к реке Хараме, в том районе фашисты предпринимали попытки взять под контроль дорогу на Валенсию.

Пообедали в крохотном городке: церковь, ратуша, кабачок и несколько обветшалых каменных домов. Оттуда по холмам с оливковыми рощами и виноградниками поехали на старую ферму: сырые тюки брошенного сена, несколько куриц и худющий кот. Фермерский дом служил пунктом снабжения, но находился на приличном расстоянии от передовой. Стены во всех комнатах были выбелены, койки аккуратно заправлены. В кухне за большим деревянным столом три бойца из интернациональных бригад, одетые в широкие мятые брюки и сверкаю-

щие сапоги, чистили вялую, сморщенную картошку. Они посмотрели на меня так, как на той войне все солдаты смотрели на любую приличного вида женщину. В их глазах читались голод и смущение одновременно.

Эрнест долго болтал с ними о том о сем и только потом спросил, можем ли мы проехать на передовую. Ему объяснили, что для этого нужен пропуск, и посоветовали обратиться в их штаб, который располагался сразу за холмом. Я угостила солдат сигаретами, причем старалась делать это так, чтобы наши руки соприкасались: эти мужчины не дотрагивались до женщин уже несколько недель, а может, и месяцев. Спустя еще несколько минут мы подъехали к дому, который был штабом и где нас встретил мой итальянский друг Рандольфо Паччарди.

Он рассказал, что его солдаты сражаются как львы, героически сдерживая натиск противника, ведь если фашисты перережут дорогу на Валенсию, Мадрид останется без продовольствия и припасов, однако для журналистов находиться на этом участке фронта слишком опасно.

– Но без репортеров никак нельзя, – возразил Эрнест. – Нужно, чтобы весь мир узнал о вашем мужестве.

– Фашисты со своих позиций простреливают поле, а вам, чтобы добраться до траншей и блиндажей, придется его перейти.

– Не так страшен черт, как его малюют, – оптимистично заявил Эрнест.

– Ты у нас тертый калач, Папа. Но с тобой женщина. – Паччарди повернулся ко мне и пригвоздил взглядом. – Марти, дорогая, не рассчитывай, что это будет похоже на наши мирные увеселительные прогулки вокруг Мадрида.

– Не будь идиотом, Рандольфо, – сказала я. – Если все так плохо, как ты говоришь, тебе нужны мы оба: Хэм и я. Кто-то из нас двоих выживет и напишет о том, что тут происходит.

– Ох, боюсь, мне не простят потерю самого красивого корреспондента.

– Не преувеличивай, Рандольфо, Хемингуэй не настолько уж и красив, чтобы так из-за него переживать.

Они дружно рассмеялись.

И Паччарди сдался: проштамповал две маленькие карточки, служившие пропусками, и нашел парня, которому приказал довести нас до поля на открытой машине с хорошо подкачанными колесами.

Мы ехали по извилистой дороге, которая позволяла добраться на передовую машинам с боеприпасами и санитарному транспорту, но все равно была разбитой, а под конец и вовсе исчезла. Нам ничего не оставалось, кроме как вылезти из автомобиля и идти через открытое поле на своих двоих.

Пока мы поднимались по холму, я оглянулась. Вид открывался просто потрясающий: уходящие к ферме поля, штаб Рандольфо, оливковые рощи и виноградники, шпиль церкви, городок и вдалеке – крестьянин, вспахивающий поле. А впереди шел бой, там вовсю стреляли из пулеметов и винтовок. Ронг-каронг-ронг-ронг. Ракронг-каронг-каронг.

На вершине холма наш водитель сразу лег на землю. Мы последовали его примеру. Впереди были поле – всё в воронках от разрывов снарядов – и редкие оливы с расщепленными стволами и обуглившимися ветками.

Шофер встал и, пригнувшись, быстро пошел вперед. Мы с Эрнестом, тоже согнувшись в три погибели, двинулись за ним. А вокруг свистели пули: ронг-каронг-ронг-ронг.

О господи! Мать честная! Боже правый!

Надо было бежать и одновременно пригнуться к земле. У меня от напряжения горели бедра, а сердце грозило разорваться от ужаса.

На месте того парня я бы давно уже бросила пассажиров.

Он снова кинулся на землю, и я тоже. Эрнест распластался рядом и пригнул рукой мою голову.

Я вцепилась в траву и молилась Богу, в которого вроде как никогда и не верила, а сама готовилась среагировать на любое движение нашего водителя. Все было очень просто: я бежала, когда бежал он, и падала на землю вслед за ним и при этом очень старалась не закричать от боли, изнеможения и ужаса.

Мы перебегали от одной оливы к другой, пули крошили стволы и ветки, на нас сыпались листья.

Казалось, мы целую вечность добирались до укрытия.

Это был блиндаж: комната, стол, телефон. И кругом полно солдат – итальянцев, французов, американцев. Эти ребята смотрели на меня с таким восторгом, что я невольно рассмеялась. И Эрнест тоже. Мы смеялись от облегчения и радости, что смогли добраться туда и быть рядом с ними на той войне.

– А вы молодец, – похвалил меня один из бойцов. – Моя сестра сто раз обмочилась бы по пути сюда.

А другой заметил, что его мамаша грохнулась бы в обморок еще у штаба, но зато осталась бы жива.

– В жизни не встречал более отважную девушку, чем Марти, – сказал Эрнест. – Она и мне фору даст.

Я ему не поверила, ни на секунду не поверила, но как же приятно услышать такое от самого Хемингуэя. Я была тронута до глубины души и решила, что никогда его не разочарую.

Солдаты сделали нам горячий кофе и ввели в курс дела, вкратце обрисовав позиции, свою и фашистов. Хорошо, что мы добрались сюда: кто-то ведь должен был рассказать миру об этих героях. Я угощала их сигаретами и снова старалась делать это так, чтобы между нами на секунду возникал физический контакт. Я восхищалась их оружием, расспрашивала об их женах и невестах, о матерях, о родном доме. Они рассказывали мне о Горе смерти и устроили экскурсию по траншеям. Я видела солдат с пулеметами и винтовками, они целились в сторону обуглившихся олив на разрыхленной от выстрелов земле. Винтовки у некоторых из бойцов были такими старыми, что даже не верилось, что из них можно стрелять.

Там мы и заночевали. Солдаты настояли на том, чтобы я заняла койку в блиндаже, где было относительно безопасно.

– Ты не можешь отказать этим парням. У них появилась редкая возможность проявить галантность по отношению к красивой женщине, – сказал Эрнест. – И в любом случае, если ты не ляжешь на эту койку, никто из них не сможет заснуть.

Стрельба в ту ночь не прекращалась. Утром не было слышно чириканья птиц. А когда мы собрались уходить, один парень попросил меня навестить его раненого брата: тот лежал в госпитале, и мы могли бы заехать туда по дороге в Мадрид.

– Мы, вообще-то, пока не собираемся в Мадрид, – ответил Эрнест. – Ты же понимаешь, есть еще очень много ребят, которым надо полюбоваться на длинные ножки Марты.

– Конечно же, мы обязательно навестим твоего брата, – пообещала я. – Как его зовут?

Деревня на берегу реки Харамы, Испания

Апрель 1937 года

В тот вечер в таверне, пока один из завсегдатаев играл на гитаре и пел чудесные песни своим друзьям, я попросила Эрнеста рассказать о том, как он воевал в Италии.

– Это было похоже на то, что мы пережили сегодня на холме?

Хемингуэй перевел взгляд с меня на поющего посетителя, и мне показалось, что ему стало неловко.

– Я, как только узнал, что Красный Крест набирает волонтеров в водители санитарного транспорта, сразу уволился из «Канзас-Сити стар». А ведь это там я научился писать. Понимаешь, Студж? Они меня всему научили: и как сокращать предложения, выбрасывать абзацы, целые куски... и как использовать активные глаголы, и как выражать свои мысли четко и ясно.

Я не стала менять тему, чтобы случайно не наткнуться на правду, которую уже и без того знала: Эрнеста не взяли в армию из-за поврежденного глаза. Почему мы так часто терзаемся из-за того, в чем сами совершенно не виноваты?

– Ну и что было потом, в Италии? – не отставала я.

Он отхлебнул большой глоток виски. Я сперва только пригубила, а потом тоже хорошенько приложились.

– Италия... Это было так давно. – Эрнест снова посмотрел на гитариста, но было видно, что он весь там, в своем прошлом. – Когда я приехал в Милан, на заводе боеприпасов произошел взрыв.

Он рассказал мне о том, как выносили на носилках фрагменты тел, головы и конечности. Голос у него был ровный, почти бесстрастный, как будто таким образом он мог закрыться от нахлынувшего на него вала эмоций.

– Через два дня меня откомандировали в бригаду «скорой помощи» в Скио. А уже там спустя пару-тройку недель, когда я вез нашим солдатам шоколад и сигареты, всего в полуметре от меня разорвалась австрийская минометная мина.

Это было восьмого июля 1918 года.

– Я услышал этот жуткий звук, и у меня возникло такое чувство, будто я выскальзываю из своего тела. Прямо как платок из кармана пиджака. Я словно бы поплыл над собой, а потом каким-то чудом вернулся обратно. Я не был мертв, как мне показалось сначала, во всяком случае, не так, как солдат, который лежал рядом со мной.

Гитарист допел песню и завел следующую, прежде чем посетители таверны, оценившие его талант, успели захлопать. Хемингуэй осушил стакан с виски и показал официантке два пальца, чтобы она повторила. И вдруг спросил:

– Ты в детстве молилась, Студж? Я, когда был маленьким, каждое утро становился на колени в комнате на первом этаже, где дедушка, отец моей матери, читал нам Библию для детей.

Официантка принесла еще две порции виски и забрала пустой стакан Эрнеста, тогда как в моем оставалось еще не меньше половины. Я сидела рядом с Хемингуэем и пыталась понять, провоцирует он меня или же говорит откровенно.

– Даже представить не могу, как ты молишься, – тихо сказала я, когда официантка отошла от нашего столика.

– Если я плохо себя вел, то отец порол меня ремнем для правки бритвы, а потом заставлял становиться на колени и просить прощения у Господа.

В глазах Эрнеста было столько боли, но он рассмеялся, как будто это и правда было смешно.

– Мама любила наряжать меня в платья, – с напускной бравадой признался он.

А потом рассказал, что порой она также наряжала его сестру в одежду для мальчиков, а еще родители придержали старшую дочь на год дома, чтобы они с Эрнестом вместе пошли в школу.

– И папе с мамой очень не нравилось, что я опережал ее в учебе. Они хотели, чтобы мы во всем были одинаковыми, – бодро добавил Хемингуэй, после чего продолжил вспоминать детство: – Каждое лето мы на пароходе плыли через озеро Мичиган из Чикаго в Харбор-Спрингс. Там садились на экспресс до Петоски, оттуда на пригородном поезде добирались до Бэр-Лейк, а потом на двухпалубном пароходе до коттеджа «Уиндемир». Там я проводил каникулы: рыбачил – ловил окуней и шук – и плавал вместе с сестрами.

Эрнест устался в свой стакан. Я наблюдала за ним, а он чувствовал это, но, как загнанный в угол зверь, старался сидеть тихо и не делать лишних движений.

– И как? Попадались тебе там гигантские водяные клопы? – наконец спросила я, стараясь обратить все в шутку и разрядить обстановку, поскольку чувствовала, что пора уже прийти ему на выручку.

Хемингуэй встрепнулся и посмотрел на меня так, будто я сбила его с мысли.

– Какие еще водяные клопы?

– О, это крайне мерзкие существа, они водятся в прудах Сент-Луиса. А уж какие громадные, с твою ладонь. Клянусь, не вру! Если такой вцепится в палец на ноге, а они только этим и промышляют, точно приличный кусок мяса отхватит. Жуть, да и только!

Эрнест рассмеялся:

– Ни за что не поверю, что заядлая пловчиха вроде тебя не полезет в пруд, испугавшись какого-то водяного клопа!

– Ясное дело, я их нисколечко не боюсь. – Я тоже рассмеялась, и у меня впервые после того, как мы ездили на передовую, стало легче на душе. – Но ты видел, какие шрамы у меня на пальцах?

Мы пили виски, а посетители таверны вовсю подпевали гитаристу. Испанские слова звучали энергично и округло, как «ронг-каронг-ронг-ронг».

– Ну а чем ты занимался зимой? – поинтересовалась я.

– Самозабвенно дразнил сестер, – ответил Эрнест. – Давал им разные прозвища, а они постоянно на меня злились.

– Надеюсь, ни одно из них не было обиднее, чем Студж? – спросила я.

– Ты, Студж, особая статья, с тобой никто не сравнится.

Я снова пригубила виски, которое после этих слов казалось теплее и намного приятнее на вкус, и подумала, что лучше бы мне больше не пить, но вместо этого сделала еще глоток.

– А мой бывший возлюбленный звал меня Кроликом, – призналась я и сразу же об этом пожалела.

Эрнест посмотрел на меня с нескрываемым интересом – он понял, что нашел трещину в моей броне. Бертран действительно называл меня Кроликом, а я его Смифом. Этот человек настолько заморочил мне голову, что полностью подчинил себе. Да, он любил меня и все собирался развестись с женой, но никак не мог поставить точку в этой истории. В результате я дала ему прозвище Ангел разрушения, хотя на самом деле Бертран ничего не разрушал: наши отношения погубили упрямство его супруги, а также мое собственное нетерпение и неспособность противостоять воле отца.

– Думаю, Студж подходит тебе больше, чем Кролик, – сказал Эрнест.

Я повертела в руке стакан с виски. И, собравшись с духом, спросила:

– Скруби, а как тебя звали твои друзья, когда ты был маленьким?

– По всякому. Но хуже Скруби в любом случае не придумать.

Эрнест снова рассмеялся. Я тоже благодарно рассмеялась в ответ и заявила:

– О, ты еще не знаешь моих способностей. Могу изобрести и похуже.

– Например?

– Гигантский Водяной Клоп.

– Гигантский Водяной Клоп? Отличное прозвище, Студж, – одобрил Хемингуэй. – Но уж больно длинное, сразу и не выразишь.

– Ладно, постараюсь придумать что-нибудь попроще.

В ответ на зацепившую меня историю о том, что Эрнеста в детстве порол ремнем для правки бритвы, я поведала ему, как непросто было с моим собственным отцом. Нет, я не жаловалась на то, что папа из-за моей любви к Бертрону называл меня конченной эгоисткой, но рассказала достаточно, чтобы Хемингуэй мог сам сделать выводы.

– Отец умер чуть больше года назад.

– Я сразу почувствовал черноту в душе твоей матери тогда, в Ки-Уэсте.

В таверне стало тихо. Певец ушел, остались только пустой стул и прислоненная к стене гитара.

– А мой отец всю жизнь носил в душе эту черноту, – добавил Эрнест. – И покончил с собой, застрелившись из «смит-вессона», когда мне было двадцать девять. – Он поднялся из-за стола и прошел к барной стойке, я даже не успела ничего сказать; вернулся с двумя полными стаканами, сел и произнес: – Студж, ты и правда нынче вела себя по-геройски.

– А ты дал прозвище той медсестре? – тихо спросила я.

– Какой еще медсестре?

– Ну, той, из миланского госпиталя.

На секунду я испугалась, что Эрнест сейчас влепит мне пощечину, но он просто откинул волосы со лба и встал. Улыбнулся, чтобы я расслабилась, но это не помогло. Взял гитару, начал брэнчать и запел слишком уж громко.

В дверях появился владелец гитары. Вид у него был встревоженный, но его можно было понять.

– Скруби, может, ты вернешь гитару ее законному хозяину, – поддразнивая Эрнеста, предложила я и кивнула в сторону мужчины, застывшего в дверном проеме, – а мы лучше пойдем спать?

Эрнест передал инструмент испанцу с таким видом, будто сделал ему одолжение.

– Играй, сынок. А этой прекрасной леди нужно кое-что посущественнее игры на гитаре.

Я вспыхнула, но не стала отстаивать свою добродетель. Ни к чему было при всех объяснять ему, что «спать» – это значит «спать в разных комнатах». Да и моя добродетель в любом случае уже была изрядно потрепана. О, мои многострадальные золотистые волосы!

Когда мы поднимались по лестнице, я сказала:

– Спасибо тебе, Гигантский Водяной Клоп. Ты избавил меня от необходимости рапортовать Полин о том, что ты плохо ведешь себя на отдыхе. – Я специально, чтобы перечеркнуть любые ожидания, произнесла вслух имя его жены.

В комнате я достала из сумки заветный брусок мыла и положила его на край маленькой раковины. Смыла с лица, груди и шеи грязь войны, поскребла за ушами. Потом сбросила туфли и ополоснула ступни, которые, несмотря на всех водяных клопов мира, были без единой царапины. Пристроив мыло сушиться, я с удовольствием легла на бугорчатый матрас и комковатую подушку. Я была счастлива, что меня окружают стены, а стрельба звучит где-то вдалеке, счастлива, что в животе тепло от выпитого виски и что я смогла чуть ближе узнать Хемингуэя.

На следующее утро мы вернулись в тот маленький фермерский дом, где располагался пункт снабжения, и, вновь беседуя с солдатами, услышали гул, а потом и глухие разрывы снарядов. Вибрирующий звук очень быстро стал пронзительным и был нацелен прямо на нас. Мы нырнули в траншею и задержали дыхание, словно снаряд был хищным зверем и спастись от него можно, только если перестанешь двигаться. Эрнест лежал на мне, всем своим весом при-

давливая к земле, а звук стал таким пронзительным, что казалось, его одного уже хватит, чтобы нас убить. А потом – жуткий взрыв, настолько громкий и оглушительный, как будто снаряд разорвался у меня в голове.

Когда мы наконец выбрались из траншеи и стряхнули с себя землю, чудесный фермерский домик превратился в руины. Из-под обломков доносились голоса не успевших выбежать наружу солдат. Мы начали разгребать камни: Эрнест, я и другие бойцы. Я говорила себе, что у меня уже выработался иммунитет. Внушала себе, что прежде такое не раз видела и знаю, чего ждать. Искореженная металлическая кровать в номере отеля после артобстрела. Труп безголового мужчины, окутанный паром из пробитого газопровода. Кровь, которая сочилась сквозь пальцы женщины, когда ее заводили в холл отеля. Маленький перепуганный мальчик бежит через площадь, держась за бабушкину руку, а из шеи у него торчит горячий осколок снаряда.

Я понимала, что обязана Эрнесту жизнью, поскольку вряд ли бы уцелела, если бы он не научил меня различать звуки разного оружия и не показал, как плашмя падать на землю. Разбирая завалы, я превратила свое сердце в горстку камней, подобную руинам того чудесного фермерского домика. Я думала только о том, что делаю, и старалась не слышать голосов молодых бойцов, которые звали маму, не дотрагиваться до солдат, к которым с такой осторожностью пыталась прикоснуться накануне, когда угощала их сигаретами, иначе мое окаменевшее сердце просто разорвалось бы и похоронило меня под собой.

Прифронтовой госпиталь в районе Мората-де-Тахунья, Испания *Апрель 1937 года*

На обратном пути в Мадрид мы проезжали мимо старого обветшавшего здания, где находился госпиталь, оснащенный американским медицинским оборудованием. Как раз там лежал брат одного из солдат, которого я обещала навестить. Но Эрнест упорно не хотел сворачивать туда.

– Ну пожалуйста, прояви понимание, – уговаривала я его. – Вспомни, как ты сам был ранен, сколько времени пролежал в госпитале за тысячи километров от родного дома. Только представь, что бы ты тогда почувствовал, если бы тебя навестил сам Эрнест Хемингуэй, один из лучших писателей современности.

– Вот как ты запела, – хмыкнул он. – А вчера, помнится, кто-то вроде бы называл меня Клопом?

– Ну да, так оно и есть, ты самый гигантский из всех гигантских водяных клопов, – подтвердила я. – Огромное, гадкое, страшное жукообразное существо, которое отгрызает пальчики на ногах у ничего не подозревающих детей.

– К чему такие жуткие подробности? По-моему, просто Клоп будет вполне достаточно.

– Хорошо, милый, как скажешь.

– Ладно, уговорила, – рассмеялся Эрнест. – Ты ведь всегда добиваешься своего, да? Так и быть, заедем в этот вшивый госпиталь на пять минут, чтобы ты могла выполнить обещание.

«Спасибо, мой любимый Клоп», – мысленно поблагодарила я его, но тут же одернула себя: еще чего не хватало.

Слух о том, что в госпиталь приехал сам Хемингуэй, распространился с невероятной скоростью, как хлынувшая из раны кровь. Кто-то из персонала сразу сообщил Эрнесту, что с ним очень хочет поговорить молодой солдат по имени Рэйвен. Эрнест не возражал, и нас проводили в палату, где лежал этот раненый. Над бугром, покрытым колючим шерстяным одеялом, виднелось лицо, все в страшных струпьях, а глаза несчастного были забинтованы. Парень получил ожоги от бутылки с зажигательной смесью. Едва шевеля обгоревшими губами, Рэйвен слабым голосом сказал, что боль терпимая и жалеет он только о том, что не может увидеть, как сражаются его товарищи. Я слушала этого слепого парня из Питтсбурга, который мечтал стать писателем и которого больше никогда не захочет поцеловать ни одна девушка, и, чтобы не расплакаться, призывала на помощь все свое мужество, что на передовой внушил мне Эрнест.

Мы не могли смотреть на раненого. Хемингуэй, глядя в сторону, рассказывал ему о том, что мы видели на фронте. Он описывал это в деталях так, чтобы Рэйвен мог живо все представить. Посмеялся над тем, как суетились вокруг меня солдаты, и только потом понял, что парень не может меня увидеть и оценить, как я выгляжу.

– Когда в следующий раз будем проезжать мимо, привезу тебе радиоприемник, и ты сможешь послушать, чем там заняты твои приятели, – пообещал Эрнест.

– Может, Джон Дос Пассос тоже приедет, – ответил Рэйвен. – Он обещал меня навестить. Хемингуэй поджал губы.

– Я прихвачу его с собой, – сказал он так, будто его нисколько не задело то, что этот парень восхищается его коллегой-писателем, может быть, даже больше, чем им самим.

– Правда привезете?

– Правда.

– А скоро это будет, мистер Хемингуэй?

– Просто Эрнест. Или Эрни, как тебе больше нравится.

– Я могу обращаться к вам по имени?

– Можешь называть его просто Клоп, – вставила я. – Его так все близкие друзья зовут.

– Клоп? – изумился Рэйвен.

– Как только Дос Пассос объявится в Мадриде, я сразу его к тебе привезу. И радиоприемник тоже, – заявил Эрнест.

– Может, лучше Синклера Льюиса? – спросил Рэйвен, уловив в голосе собеседника нотки неприязни по отношению к Пассосу, хотя Эрнест ни за что бы в этом не признался. – Говорят, он якобы собирается в Испанию.

– Без проблем. Синклера Льюиса тоже привезу. И заставлю его прихватить свой диплом нобелевского лауреата, чтобы он...

Эрнест чуть не сказал «чтобы он тебе его показал», но вовремя осекся и посмотрел на Рэйвена... Впервые после того, как мы вошли в палату и поняли, что парень не увидит, как старательно посетители отводят глаза.

В тот вечер, пока Эрнест и его партнеры по покеру сидели за круглым столом и, сдавая карты из потрепанной, привезенной еще из Флориды колоды, проигрывали друг другу деньги – я точно не знала, но подозревала, что они, как всегда, заняты именно этим, – я заправила чистый лист бумаги в пишущую машинку, которую одолжила у Джинни. Хемингуэй верил в меня, считал, что у меня получится стоящий материал, так что пора уже дерзать. Но как описать войну? Ты можешь рассказать, как случилось то или другое, но это не будет историей парня из Питтсбурга, у которого сгорели губы. Или историей хирурга из госпиталя, который в мирной жизни был дантистом. Или историей тех ребят, которые чистили картошку в фермерском доме, а потом вдруг в одно мгновение оказались похоронены под его развалинами. Я смотрела на чистый лист и пыталась точно вспомнить звук летящего в нашу сторону снаряда. Не то, как бы описал его Эрнест, а то, как это услышала я сама. Грохот после попадания в дом. Кашель и свист. Детали. Ощущения. Прохладная гладкая трубка телефонного аппарата в бункере на холме. Чувство вины, которое я спиной ощущала, пока лежала на койке, в то время как солдаты спали на холодной земле. Все, чего не знал Рэйвен, но мог бы узнать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.